
Борис ЕВСЕЕВ

АСКАНИЯ

Заповедная повесть

Дрофа

Шаг, другой, третий, четвертый...

Дрофа попыталась взлететь, но тут же, наискосок от нее — схожий с небесным — огонь полыхнул. Застыв на месте и опустив крылья — переждала. Затем снова, прямо через высокие ковыли, разбежалась. Взлетала уже в дыму: смолистом, тягучем. Дым этот, после второй огненной вспышки, лениво над землей растекался. Вырвавшись из дыма, уронила влажно-насмешливый крик, а вслед за криком несколько ласковых побулькиваний, в истомляемой весенним жаром степи приятных всем, приятных каждому. Побулькивания, однако, внезапно смолкли, потому что близко, рядом, заурчал грозно зеленый зверь о четырех колесах. И тут же крыло дрофы от резкой боли, словно надвое, переломилось. Неуклюже спланировав, подраненная дрофа опустилась прямо в кусты янтака. Верблюжья колючка не колыхнулась. Утро раннее, утро трепетное, утро опасливое началось.

Дед и внук

- Едешь?
- Еду, дед, еду.
- А как не найдешь ее, тогда што?
- Тогда — ничего.
- Брось дурить, сынку.
- Перестал бы ты меня сынкой звать. Внук он и есть внук. Батяню моего полюбому не воротишь.
- А ее воротишь?
- Не знаю. Только без нее — меня не жди.
- А заповедник кто поднимать будет? Все разворочено. Звери по степям разбежались. Небо — и то пустое. Ни тебе певчей птицы, ни коршуна. Одни коптеры. Даже воронье с деревьев почти не взлетает. Коптеров боится. Только птицы, они — что? Птицы привыкнут. А человеку наперекор коптерам существовать нужно. Денно и ночью должен человек с колоземицей сотрудничать.
- Ладно тебе, Бухтеря. Давай обнимемся лучше. Автобус на Геническ через полчаса. Оттуда — на Донецк в одиннадцать десять.

Борис Евсеев — прозаик, поэт, лауреат и финалист многих литературных премий. Живет в Москве.

— Ты б хоть штаны справные на себя натянул! — крикнул, поправляя торчащие вразлет усы, уходившему вслед Бухтера Потапыч. — А то в таких обрезанных в приличные места не допустят!

Внук на прощание лягнул воздух босой ногой. Мелькнуло выколотое на икроножной мышце стрелой пробитое сердце. Сине-зеленая, каплющая из сердца кровь вдруг отблеснула красным...

Госпиталь. Арья-Аскуза

В больницу Донецкую, больницу республиканскую Павлуха попал поздним вечером. Медсестры Светочки, про которую мельком упоминала исчезнувшая зазноба, давно и след простыл. Хотел было психануть, ругнуться, — а повезло. На выкрикнутый вопрос подруга Светочкина отозвалась.

— Про девчонку твою слыхала: правда, краем уха и мало запомнила. Вроде ее в Мариуполе видели. Близ «Азовстали» или в самой «Азовстали».

— Так комбинат же пока до конца не разминирован. Только через полгода закончат.

— И чего? — сморщила подруга кнопочный носик. — Говорят, все одно по ночам там кто-то шлэндает. Может, живые мертвых ищут. А может, наоборот: мертвые живых подстерегают.

Павлуха дернулся уходить. Кнопочная ухватила за рукав:

— Куда, дурень, на ночь глядя? Идем, в приемный покой тебя определю. Там на ступеньках поспишь. Будут спрашивать — скажешь к родственнице Сидякиной приехал, завершения операции ждешь. А на улице тебя с рукой пораненной загребут. Как пить дать, загребут! У нас же через двадцать минут комендантский час...

Комендантский час еще не истек, когда Павлуха в рассветной полумгле приемный покой покинул. Привозы больных и раненых не давали уснуть. Решил в скверике подождать, пока автобусы начнут ходить. Проходя мимо памятника какому-то доктору, мимовольно оглянулся. В полумгле показалось: бронзовая голова чуть набок склонилась, и очки на кончик носа сбились. Павлуха протер глаза и решил поспать еще. «Как раз и час комендантский кончится».

— Час коменданта! Час коммандос! — смеялась она еще совсем недавно, весной двадцать второго года. Павлуха тогда не смеялся, любовался едва заметными морщинами, отходившими от глаз ее во время смеха. Лицо овальное, в средней части чуть удлиненное, словно подсвеченное изнутри, но и слегка затуманенное, влекло спелыми губами, искорками глаз. А сильнее всего — едва заметным углублением на подбородке. Павлуха попытался понять: что в лице ее самое-самое. И не смог. На ум пришло только сравнение со светлоклювой веселой птицей. «А что глаза зеленоватые — так это и у людей, и у птиц случается».

Знакомство свели нечаянно, при последних вздрагиваниях украинской власти. Правда, потом все как-то само собой завертелось, запрыгало. Не до продолжения стало. Но весной все того же двадцать второго года, в двадцатых числах марта, когда над заповедником и прилегающей ковыльной степью установили полный контроль россияне, Павлуха о ней вспомнил и напросился отвезти какие-то ящики в не работающую пока лабораторию.

«Куда ты раньше, Павлуха, смотрел?» Немой вопрос, заданный самому себе, наверняка застыл в его зрачках, потому что она тряхнула темно-русыми, собранными в хвост волосами, еще раз, уже внимательней, взглянула на Павлухину растерянность и необид-

но рассмеялась. Чтобы разрядить обстановку, махнула рукой в сторону света, четырьмя острыми лучиками бывшего сквозь притворенные ставни:

— Ящики, что привез, поставь друг на друга, в два ряда под окнами. Если захочешь попить — налью. Вижу, вижу: упарился ты с этим грузом. У меня в беседке кастрюля с компотом и полбутылки «Пэрлыны стэпу». Иди, а то здесь вирусняк, может, еще шастает, — мелодично рассмеялась она.

Ничего смешного в вирусах не было, Павлуха это хорошо знал, хоть и был простой зоотехник, и до настоящего ученого было ему топать и топать.

— Где беседка? Не видал я что-то.

— Так позади лаборатории. Я сейчас закончу. Ты на улице меня подожди.

— А ваши все где?

— Одна я теперь тут хозяйничаю. Все убежали. Оборудование и бумаги вывезли. Был жених, и тот меня бросил, — теперь не засмеялась, лишь слегка передернула плечами.

— Ч-чего это он тебя бросил?

— Ты гляди какой любопытный. Ладно. Так и быть скажу: не понравилось ему, что не стелилась перед бывшим начальством и улепетывать отсюда не захотела. Только мне ведь все равно: что одна власть, что другая, что третья. Я свое дело при всех властях делать буду. Я упертая. А все потому, что скифянка я! Похожа? — Медленно отвела она голову в сторону.

Профиль и правда походил на золотую головку со скифской бляшки, которую три года назад нашли здесь же, в кургане, но потом сразу отправили в Киев, так что больше никто никогда ее не видел.

— Угу, — сказал Павлуха, — похожа, — а остальные слова проглотил. Она это заметила, снова улыбнулась.

— Только с имечком прокол вышел. Родители мои русскими были и учеными настоящими. Древнеиндийский санскрит знали. Вот Арьей меня и назвали. Погибли они. В четырнадцатом году. Ну, Арьей быть мне еще с юности не больно нравилось. Потому-то еще в университете, когда стала заниматься изучением здешнего заповедника, стала себя Аскузой называть. А тут меня все Асканией Владимировной звали. Мне нравилось. Вроде псевдонима научного.

— П-почему Аскузой?

— Аскуза — по-ассирийски «скифская». От ассирийской Аскузы греческая Аскания произошла. А то долдонят все и долдонят: Фальц-Фейн Асканию выдумал, Фальц-Фейн.

— Т-ты этой лабораторией заведовала? — В последние годы почти не заикавшийся Павлуха вдруг сам на себя рассерчал, даже топнул ногой.

— Заведовали америкосы. А я — так... Кой-какие вспомогательные расчеты вела. Для того и держали меня здесь, близ птичьей этой лаборатории: как-никак — кандидат биологии. Только внутрь друг жениха моего, пан Музы́ка, меня не допускал. У него свои верные люди для работы с инфекциями перелетных птиц были... Да ты не робей. Нет уже здесь ничего. Всю птичью заразу пан Музыка с собой увез. И про вирусы я пошутила. Может, птичий грипп где еще и порхает, и то навряд... А я за тобой давно наблюдаю. Видела, как ловко прошлым летом вы с дедом на сенокосе управлялись. Руки у тебя, смотрю, золотые. Сразу и не скажешь, что пальцев не хватает.

Павлуха насупился, Арья снова тихо совсем рассмеялась:

— Да ладно тебе обижаться. У меня просто глаз прицельный. Вот и заметила. Покажи руку: хорошо заштопали?

Павлуха отвел левую руку за спину.

— Ну, как знаешь. Только зря ты горюешь. Отец мой, как и ты, зоотехником начал. Лишь потом доктором биологии стал. Так он знаешь, что говорил? Штопаная скотинка — долговечней. Да и сильней тоже.

Павлухе это внезапно понравилось. «А ведь точняк, — прикинул он про себя, — подранки или птицы с крылом перебитым, если раны зашьют или сами затянутся, живут крепче, живут дольше...»

— Ладно, иди в беседку. Я — следом...

Синим покрывалом — мягко, плотно — лег на землю вечер. Арья спрятала уже почти пустую бутылку в сумку-холодильник, поднялась. Вскочил и Павлуха:

«Ростом с меня как раз. А у меня ведь — сто восемьдесят. Если на каблуки встанет, пальца на три-четыре выше будет, — огорчился зоотехник. Но тут же подумал про другое: — Ей бы в руки лук, на бедро колчан, на голову — кольчугу мелкоячесистую, на грудь перевязь со скифской золотой бляшкой — прямо царица будет!»

— Завтра в полпятого утра приходи на угол Степной и Соборной, покажу тебе краешек настоящей ковыльной степи.

— А то не видал я.

— Видал, да не всё...

В ковылях у подножия невысокого кургана все и случилось. Солнце не взошло еще. Над степью висела пегая дымка. Никого рядом. Никого в отдалении. Благодарить в степи заповедной! Паслись, правда, справа от кургана и небольшого близ него углубления три-четыре антилопы нильгау.

— Хорошо расположились. Плоть и души наши от скверн уберегут... Это ведь только кажется, что между нами и здешними нильгау — межвидовой барьер. Нет этого барьера, нет! Вот мы рядом с ними, в углублении сухом и приляжем, — зашептала она тихонько Павлухе на ухо и почти тут же бережно опрокинула его на спину в рыжую прошлогоднюю траву, а сама уселась сверху, сдирая кофточку, сперва распрямилась, потом клонясь к нему ниже, ниже, дохнула чем-то невыразимо приятным: то ли душицей, то ли беладонной, или как ее здесь испокон веку звали — «бешеной вишней»...

В мартовской, еще не прогретой до доньшка, но уже теплой степи летала густая сладость. Правда, и холодок легкий по спинам пробегал. Причем чувствовал Павлуха: бежит холодок сперва по ее голой спине и лишь потом по спине его собственной. От степного этого холодка и вызванного им невыразимого восторга Павлуха лишь покрывал. Он гладил Арию по спине ладонями, и ему казалось: пальцы левой руки опять на месте. Не обращая внимания на колючую пульсирующую боль, вдруг возникшую в кончиках восстановленных пальцев, страшно этому радовался. Когда она с шумом выдохнула и уткнулась лицом в его ключицу, не утерпел, запинаясь, выговорил:

— Так... никогда... еще... не было!

— И не будет...

Лежа на спине, Павлуха хорошо видел: одна из антилоп нильгау подошла совсем близко и, мотнув рогатой головой, встала рядом. Почувствовав это, Арья перевернулась на спину, прилегла рядом, прямо на траву, зашептала:

— И главное, нильгау здесь... Коровы мои голубые, коровы хорошие! Сочувствуют они, помогают. Стойкости добавляют и ласки. Меж них, священных, лежать — не похоть тешить — в царство неведомое лететь!

Арья вдруг смолкла, а затем в ритм возобновленным движениям тела стала тихо и бережно произносить стихи на таинственном, гортанно-рубленом языке. Ямочка на ее подбородке обозначалась все сильней, становилась глубже, ближе...

В следующие вечера Арья уже приводила Павлуху к себе в небольшую комнатку в одноэтажном, каменном, теперь пустующем доме. Вечерние встречи становились все круче, головокружительней...

Оборвалось неожиданно. Павлуху и двух еще крепких баб срочно послали сгонять тех обитателей заповедника, которым полагалось жить в вольерах, назад за ограды. Три дня он разбежавшихся собирал. А как собрал, срочно отправили за семьдесят километров в Геническ отвезти подписанные от руки договора на корм. Вернулся — и сразу к ней, на угол Степной и Соборной. Дверь была приоткрыта. В комнате всё вверх дном: вещи раскиданы по полу и зачем-то кефиром залиты. Самой Арьи и след простыл.

Похищение Аскузы

Через месяц с небольшим после прихода российских войск, поздней ночью, вскрыв замок «фомкой», появились в опустевшем доме трое. Один тут же комнату покинул, судя по хрусту акациевых стручков, лег под окнами.

— Скъфянка, кажэш? — высокий в черной полумаске брезгливо кинул ей халат. — А пан Орэст, нарэчэный твий, казав, шо ты лярва москальская. А ну збырайся швыдшэ. С намы пидэш.

Говорил он громко, как глухой или контуженный. Слышал себя плохо. Ее ответы больше по губам угадывал.

— Чего ж вы лярву за собой тащите? Хлопнули б тут, и дело с концом. Или в таз медный побарабанили — я б и пропала с глаз долой.

— Поговори у меня! — еще один, едва достававший ей до подбородка, верткий как юла, подскочил, замахнулся, чтобы ударить.

— Не чипай ии, Пэтруть. Пэрэрыт тут усэ, а знайды лабараторни запысы. Вона их робыла, мы знаемо.

— Так я их давно новому начальству сдала.

— Не сдала, не сдала, — аж зашелся в дробном хохоте Петрусь, — у нас тут человек свой! А ну говори, куда спрятала... А! Вижу, нашел. Они, кажется. Глянь, Ктитор.

— Воны, воны, — Ктитор внимательно, лист за листом, дважды пробежался по бумагам, — кончив бы тэбэ тут. Та нэ можно.

— Специалисты занадобились? — ласково подхватила Арья-Аскуза.

— Закрый ротяку. А ну швыдшэ взяла свои манаткы и айда звидсы.

— Сейчас, сейчас. В ванную зайти можно?

— Туда и обратно. И двери не запирай, а то выломаем, — маленький, шустрый Петрусь снова замахнулся, она на шаг отступила, ловко выхватила из-под подушки нож.

— Не дури, стерва! Пристрелю. И не услышит никто, — сзади незаметно подкрался и сунул в ухо пистолет лежавший до этого за окном и наверняка сквозь него же обратно в дом проникший третий лазутчик, — Ктитор и Петрусь тебя проводят. И не дай тебе бог еще раз взбрыкнуть. Без ушей куда надо доставим.

— Им со мной не пройти. Тут патрули кругом.

— А они звериными тропами, — ухмыльнулся третий, — Слышь, Ктитор? И рот ей сразу заклей. Встретимся, где договаривались. И гляди мне, шоб жива была. Пан Орэст добрэ заплалил.

— Так это он вам, дуракам, меня продал? Ну пан Орэст, ну червец желобчатый!

— Не нам, дурэпа, не нам! Ты нам сто лет не нужна. Хорошим людям поиметь с тобой дело присоветовал. Они тебя куда надо пристроят. Опять гнусом летучим займешся.

— Так я им здесь не занималась. Только на подмену пару раз и посылали.

— Хватит брехать. А ну давай сюда руки! Вынимай скотч, Ктитор... Так ей, так. Пускай помолчит.

— М-м-м, — замычала через наклейку Арья, и ее тут же вытолкали на улицу.

Темень висела ключьями. Ночью скупо просеялся дождь, но воздух влагой так и не насытил. Двое, сторожась, по очереди, осмотрелись. Ни фонаря, ни живой души окрест.

Вдруг тихо, но настырно задыхал в ухо Петрусь:

— Ты ни меня, ни Ктитора не зли. Шо нам приказ? Шпок — и нету тебя. Скажем, свои ж тебя и угрохали. Усекла?

Взбрыкнула головой. Зверем рыкнула сквозь наклейку. Петрусь отскочил. Зашипел:

— Молись пану Иисусу, шоб Ктитор тебя не услышал.

Почти двухметровый Ктитор видел и слышал отлично. Усвоив жесты и повадку контуженного, быстро выучился работать и под абсолютно глухого: при этом много важного на лицах и в движениях наблюдаемых жертв замечал. Туповатая маска, разработанная специально для него руководителем их ДРГ, действовала на противника безотказно. «Потому и живой до сих пор», — прикинул он про себя по-русски. Но тут же лишние мысли из головы, как лопатой, выгреб. Степь коварствовала. Отдающий вермутом запах прошлогоднего разнотравья казался подозрительным. Выкатилась, как назло, из-за туч луна. Стало не по себе: задание было смертельно опасным. В лабораторию, год назад срочно созданную в Мариуполе, нужен был специалист для подведения итогов уже выполненных работ. Не всякий туда сейчас поехал бы. Тут пан Орэст про лярву и вспомнил. Сначала хотели их вместе с ней в гидрокостюмах запустить по речке Молочной. Там — уже на российской территории — в пещере у Каменной Могилы лярва должна была отрыть и просмотреть какие-то спрятанные записи. Нужные взять с собой. Дальше приказано было добираться в Мариуполь по маршруту, проложенному для другой ДРГ, но пока не использованному. Маршрут Ктитору опять-таки сообщили. Но в последний момент все поменяли. Вместо Каменной Могилы приказали добираться на подставной машине до Хорлов, а там морем, на одном из румынских суденышек до Одессы. И уже оттуда, если не будет новых вводимых, до Мариуполя. Маршрут был сложный и трудновыполнимый. К чему такие выкрутасы, Ктитор не понимал и от этого нервничал. С Мариуполем тоже закавыка выходила. Ктитор не сомневался: жить городу под Украиной оставалось всего ничего: неделю-другую, от силы месяц. Но приказа послушаться не мог: в Белой Церкви, под Киевом, оставалась семья. Ктитор говорил по-украински, думал по-русски. «Может, и успеем в Мариуполе, что надо, собрать, видосы сделать, потом подальше от фронта отвалить», — уговаривал он себя, хоть и понимал: его-то как раз из подвалов «Азовстали», куда на время переместили из-за бомбежек лабораторию, могут и не вывезти. А вот лярву эту, как спеца по зараженным птицам и по высеченным на стенах надписям, сто пудов заберут: спецрейсом или как-то по-другому. И останется он один, вдыхать в подвалах из пробирок и колб летучую заразу...

Вдруг по краю густой поросли что-то шорхнуло. Ктитор упал на землю, подсек и повалил рядом с собой лярву, а напарнику показал рукой: «Проверь».

Но и проверять было нечего. Красавица дрофа на вызолоченных луной крепких ногах пробежала и застыла в кустах, чуть отведя назад серую, тонко выточенную головку. Дрофа была невыразимо прекрасна. «Прекрасна — значит мертва», — вдруг подумалось Арье. Тут же, уподобив себя дрофе, загадала: «Убьют дрофу — убьют и тебя, скифянка!»

От ощущения вплотную подступившей смерти стало трудно дышать. Перевернулась на спину. Рука сама собой потянулась к легкой кофточке. Расстегнулись пуговицы: одна, другая, третья. Дышать стало легче.

— А ну сховай свои сиськи! Вставай быстриш! Кроком руш!

Ктитор поднял пистолет с глушаком, но в дрофу не выстрелил. Она так и осталась стоять в кусте. Через час пути рядом с курганом откопали три комплекта российского камуфляжа. Арья заставили переодеться. Еще через час за каменным с выбитыми дверьми амбаром увидели Тойоту «Короллу».

— Куда? — спросил водитель в форме российского сержанта.

— В Хорлы.

— Так вроде ж до Каменной Могилы приказали.

Арья вздрогнула. Сны про Каменную Могилу, похожую на горбатую спину какого-то упавшего лицом в сухостой человекоподобного существа, долго ее не покидали. Надписями, петроглифами и символами этой таинственной Могилы она после аспирантуры тоже занималась. «Только сейчас ведь — не сон. Можем и впрямь у Каменной Могилы очутиться! Зачем я им там нужна? Неужто снова заставят немецкие надписи, по стенам раскиданные, расшифровывать? Похоже, так. „Аннанербе“ и доктор Вирт не дают им покоя! Летающий факел, на стене высеченный, до экстаза доводит. Думают, огонь Аратты им поможет. Ну гиммлерята, ну поганцы... Только вряд ли они смогут древний всеиспеляющий факел воссоздать... Аратта-чудесная, мать-Аратта, прости! Забыла тебя, забыла страну предков. Теперь вспоминать придется...»

— ...Давай, чучело, поворачивайся! Сказано тебе — в Хорлы.

— А в Хорлах — там шо? — Сержант почесал затылок.

— Там — море.

— А на море — шо?

— Корабли на море. Заводи, одоробло ходячее!..

Случайная встреча

Павлуха проснулся, как от толчка. Глянул в окна. Автобус к Мариуполю приближался. У блокпоста остановили. Пока проверяли документы, опять позапрошлогоднее прихватило. Отогнав припоминалки, Павлуха стал звонить деду. Тот вне зоны был. И вообще, все летело коту под хвост! Где теперь ее искать? Полтора года назад, когда областной Херсон был еще российским, ездил туда, подал заявление в полицию. Обещали помочь. Теперь в Херсон ходу нет. «А ну, как ее в Харьков отправили? Дед сразу сказал: забрали силой, специалист она классный, значит, пристроят куда-то. А в Харькове как раз все эти заразные лаборатории и угнездились. Или их оттуда уже вывезли? Но сказала же медсестра кнопочная: „Видели твою подругу. В Мариуполе, рядом с «Азовсталью». Какого черта ей там делать? Если часть комбината разминировали, может, она там от своих и чужих до сих пор прячется? Говорила ведь тогда, в степи, на голубых коров глядя: „Как надоели все. Славянокос нам устроили! Конечно, конечно, из-за бугра. Чтоб им всем пусто было...“ А может, кто-то из живших близ комбината ее приютил? Только на кой ей там оставаться? Или ее эсбэушники там держали, чтоб потом вертаком, как „азовцев“, для дел своих вывезти?..» Понимая, что про «Азовсталь» скорей всего досужая болтовня, Павлуха неотвратимо — с каждой минутой сильнее и сильнее — туда устремлялся.

«Чего это я? Давно на минах не подрывался?..»

В Мариуполе, идя к «Азовстали», между улицами Митрополитской и Фонтанной неожиданно-негаданно наткнулся на знакомого по асканийскому заповеднику. Тот жил неподалеку, в новом, только что отстроенном доме. Про то, как получил квартиру, загадочно молчал. Хоть было ясно: не просто так получил. Работал ведь простым охранником и не местный. Чудеса!

Вглядываясь в лицо земляка, Павлуха засомневался еще больше. И разговор его показался странным:

— Я тя отведу. Будь спок. И денег не возьму. Ты для меня не экскурсия! Дотошных приезжих — тех водил. Запретные места показывал. И тебя сегодня вечером, перед комендантским часом, отведу. Будь спок! Там в одном из корпусов — верняк — кто-то бывает. Часы есть?

Павлуха выставил кисть руки.

— Как Путин, на правой носишь? — крохотное, не крупней детского, лицо земляка вдруг сморщилось, стало напоминать сухую, кинутую в кипяток, потом оттуда вынутую и уже чуть распаренную грушу. Правый вытекший глаз чернел, как нора тарантула, левый задиристо поблескивал. — Ладно, носи, пока носят... Охрана — мать их — вокруг комбината, конечно, есть. Но редкая. Только я ходы знаю. А трупы все давно вывезли. Но в самых глухих закутках, говорят, лежат еще. И не только трупы! Тут, понимаешь, бабы наши никак не угомонятся, — земляк еще сильнее сморщил крохотную мордочку, — болтают: те, мол, кто не знает, что война в Мариуполе кончилась, так в подземельях и живут. А еще про других болтают, которым кажется: жить под землей лучше, чем на поверхности. Ну, это про тех, у кого всех родных поубивали. А чем не житуха? Склады советские там остались, вода есть.

— Брежут ваши бабы.

— Брехать-то они брежут. А только кто-то в подвалах «Азовстали» и правда бывает. Сам голоса слышал.

— Лады, приду сегодня. Только мне и отблагодарить тебя нечем. Деньжат в обрез.

— Какие счета, земляк? Два фонаря, веревку, свечу и спички возьми. Утром в семь часов на выходе тебя ждать буду. На всяк про всяк. Пальцы-то где оттяпали? На войне?

— «Лепестки» в заповеднике обезвреживал. Давай, до вечера.

В подвалах «Азовстали». Скальпель и крест

Тьма липучая паутинила мозг. Руки вздрагивали. Долго не получалось включить фонарик. Но и он не помог: пробивал темень не до конца, кроме облезлых стен, ничего не ухватывал, и от этого беспросветность налегала тесней, тягостней.

Вдруг вдалеке — чуть шатаемый свет. Словно невидимый кораблик плыл по невидимым волнам. И над тем корабликом покачивался из стороны в сторону судовой, обхваченный решеткой цилиндрический фонарь. Павлуха свой фонарик выключил, замер. Шаткий свет приближался. Вместе со светом явился и звук. Старческий сыроватый голос напевал:

— Солдатушки, бравы ребятушки,

А где ваша сила?

— Нашу силу смерть не подкосила —

Крест — вот наша сила.

Павлухе внезапно стало легко, а потом смешно. «Старик тихопомешанный тут бродит, а бабы бог знает что выдумали!» Он снова включил фонарик.

— Солдатушки, бравы ребятушки,

А где ваши кости?

— Наши кости на святом погосте —

Вот где наши кости!

Вслед за голосом где-то вдаль стали лопаться железные тросы, посыпалась штукатурка и прочая дребедень, потом кто-то со звериной лютью втянул в себя воздух и тут же тремя-четырьмя толчками его выпустил. Песня кончилась, вместо нее тот же сыроватый голос несколько раз пропел: «о-о-о-о», «а-а-а», «у-у». И резко смолк.

«Как в церкви», — подумалось Павлухе.

Через минуту-другую все тот же старческий, но уже почищенный распевкой голос произнес:

— Знаю, кого ищешь. Да только нет ее здесь.

— Ты... Ты кто такой есть? Покажись видом!

— Я — доктор. Доктор Лука. Или — Лука Крымский. Можно и по-другому ко мне обращаться: Валентин Феликсович. Ты, гость дорогой, глянь от себя влево. Да фонарик свой погаси, ни к чему он теперь.

Слева, почти рядом, сперва обозначился высокий колпак, затем докторский белый, на все пуговицы застегнутый полухалат выставился. Высветил качающийся судовой фонарь и лицо: спокойно-разглаженное, от пигментных старческих пятен полностью освобожденное. На переносице чуть косо — очки малые, приветливо блеснувшие. За стеклами — глаза немигающие. Бородка неухоженная, на концах веником разметавшаяся. И уголки губ словно бы раз и навсегда книзу опустившиеся.

— Говоришь, доктор? А в другой руке у тебя что? Вижу, вижу, нож! Людей, что ли, с ножом тут подстерегаешь и режешь?

— Меня не бойся, — мягко рассмеялся доктор. — Бойся тех, которые за людей себя выдают, а сами бешеным зверьем, здесь неподалеку рыщут.

— Так тут пока никого. Отсюда вопрос: ты-то здесь зачем, доктор Лука?

— А затем, чтоб место это пусть и малым фонариком, но осветить. И крестом осенить. А то совсем пропащим оно стало. Людей нестойких к себе огнями бездн, огнями разноцветными и обманчивыми притягивает. Да только назад не отпускает. Идем, выведу тебя отсюда. Потому как — еще раз тебе говорю — нет ее здесь. А была. Силой удерживали. Я ведь и позапрошлым годом сюда наведывался.

— Как же «азовцы» тебя сюда пускали?

— Так ведь я тайные ходы знаю. И никаким «азовцам» о них, ясное дело, не докладывал.

— Про нее скажи. Откуда узнал, кого ищу и как она сюда попала?

— Как попала — не знаю. А только вспоминала тебя в бреду. Нога у нее была поранена и загноилась. Вот я и вылечил. Разрез сделал, гной выкачал. Зашил. Шовчик на голень ее незаметно и лег. Сразу как вылечил, наверх за антисептиком кинулся. Тут ее «азовцы» и сволокли куда-то. А тебя она не раз и не два по имени звала. Говорила, в Новой Аскании любовь ее осталась. О руке твоей беспокойство имела. По руке беспалой тебя и признал.

— А дальше-то, дальше как с ней вышло?

— Дальше — неясно. В каком-то недоступном моему взору пространстве ее держат.

Павлуха помолчал. Потом, впадая в тоскование и безнадёгу, спросил уже просто так, для галочки:

— А нож тебе все-таки зачем, если тут нет никого?

— Не нож это. Ланцет хирургический. Чтоб тебе понятней — скальпель обоюдоострый. Я им с костей гной присохший соскребаю. Для дальнейших исследований по гнойной хирургии. Вот мой ланцет ей и помог. Здесь ей опасно было. Да только сердцем чую: там, куда увезли ее, вдвойне страшней и опасней. А! Вот! Только сейчас по запаху распознал: смердючей заразой из мест, где ее содержат, потянуло. Как

из скотомогильника. И название у места какое-то раздражающее! Десятком иглышек мозг укалывает. Занозистое такое название. Только не пойму никак: где это место занозистое? Вроде северней и западней, в десяти днях пешего пути отсюда.

— Кто ж сейчас пешком ходит?

— Сейчас — нет. А еще придется. Автобусы встанут. Самолеты в небе зависнут, поезда на рельсах замрут. Тогда-то пешком ходить и станете... Ну, да Бог ему судья, вашему будущему. Ты мне лучше руку свою покажи. Не гноится ли?

Павлуха руку протянул, но тотчас и отдернул.

— Так я и думал: сверху вроде все в порядке, а если вскрыть, много лишнего обнаружится. А у меня с собой и наркоза нет. Мертвым-то он ни к чему. Если потерпишь без наркоза — вскрою и зашью снова. Все для этого есть: и вода, и спиртовка, и нитки шовные.

— Не сейчас, доктор. Скажи: ты про нее не выдумал? А то ведь за такие выдумки...

— Ты силы побереги для других случаев, внучок. А увезли ее вирусным заражением заниматься. Делом гадким, делом недостойным. Это я сам слышал. Даже два-три места предполагаемых называли. Правда, невнятно. Одно тебе примерно обрисовал. Только ты туда не езжай. Убьют тебя. И ее не спасешь, и себя погубишь. Жди! Чую, жива она. А значит, весть о себе подаст. Думаю, через месяц с небольшим и подаст.

— Не могу я больше без нее жить.

— Знаю. Но ведь раньше мог? Я тоже думал — не переживу, когда супруга моя от туберкулеза легких скончалась. А ей ведь и сорока еще не было. Вот мне и казалось: не переживу. Но пережил, хоть и страдал невыносимо. И ты пережить постарайся, даже если не вернется она.

— Вот слушаю тебя и понимаю: ночной мираж ты, от здешних ядовитых испарений возникший, а никакой не доктор!

— Миражи — это у вас, в Новой Аскании. Да и там не всё миражи: иногда и подлинные очертания будущего над степью проступают, под миражи маскируясь. Только прояснить и ухватить более-менее полно очертания будущего разум человеческий покамест не в силах. Звериный инстинкт — тот ухватывает. И птичья побудка — грядущее на лету ловит. А как иначе птице перелетной жить прикажешь? Ежели не держит она в себе цель и окончание дальнего перелета — непременно с пути собьется и погибнет.

— Звери и птицы одно. Люди — другое.

— И вы как птицы будете. Только до этого два с половиной века должно схлынуть...

— Ага! Как же, будем, будем! Если и нас, как птиц, не заразят смертельно!

— На каждую инфекцию свое лекарство отыщется. Или скальпель хирурга. Или лазерный луч современный... Ладно, поговорили и квит. Идем, провожу тебя. Не придет твой земляк. Он и спровадил тебя сюда, чтоб ты здесь навеки сгнил. Не верь ему больше, если снова встретишь. Ну? Соберись с силой! Идем!

Перед самым выходом на поверхность Павлуха неожиданно остановился, спросил:

— А как же ты, доктор? Сам-то дальше куда?

— Тут пока останусь. А дальше — видно будет.

— Трупы... ну то есть тела увезли. Все вроде вычистили. Зачем тебе тут оставаться?

— Это верно: тела увезли. Но ведь гнойную хирургию я не только для тел человеческих применяю. Души людские от гноя и гнева я очищаю. Разумеется, и от боли тоже. Знаешь ведь сам: иногда душа болит сильнее тела! Вот такая у меня сейчас задача, такое мое предназначение. Потому как загноились в душах ныне живущих гордыня и спесь и ненависть дикую породили! И от этого слишком много свирепства и лю-

ти близ полей войны скопилось. Здесь, под землей, сонмы душ, уже тела покинувших, но все еще ненавистью отяжеленных, тоже мечутся. Ну а что до большей части людей живущих — неостановимое влечение к войнам у них отмечаю. Влечение это в кровь человеческую путем соитий с недостойными женщинами когда-то самим дьяволом было влито! И теперь сносящим все на своем пути наводнением растеклось по белу свету. На такое войновлечение высокое слово не всегда действует. Даже и слово Божие. Здесь-то скальпель хирурга как раз и потребен.

— Ну, и чему ты улыбаешься, говоря про это? Притворной радостью вранье свое прикрываешь? Разве ж души возможно скальпелем прооперировать?

— А ты как думал? В пространстве околосемном не только обычные души пребывают. Есть уже и душетела. А внутри душетел этих еще и тело духовное имеется. Однако и душетела порой загнивают. Гной маловесный, гной особого рода в них скапливается. Потому и радуюсь, когда случается душетела усопших уврачевать, освободить их от гноя смертоносного.

— Не верю я тебе. Думаю, ты сам как раз усопший и есть.

— Тело мое физическое и впрямь мертво. Но сущность моя, в тонкое тело теперь влитая, — жива. Иногда и вид свой показываю. Не для хвастовства! Для ободрения. Даже в газете «Донецкая республика» про это напечатали: дескать, в местах боев несколько раненым Лука Крымский явился. Да только мне ваш паблик рилейшнз не нужен, вредит даже. У вас вообще с этим делом одна сквернота выходит. Поиск пиарщины поиск истины вам заменил!.. Ну а про сущность свою нынешнюю постараюсь объяснить проще. Начну издалека. Когда-то давно один ученик виноторговца, германец с голландской кровью, закоренелый и недоверчивый холостяк, спавший, опасаясь грабителей, с обнаженным мечом в руках, придумал теорию. И назвал ее — палингенезия. Ну, чтоб ясней — второрождение. Придумать-то он придумал, да только вывод неверный сделал. Он как говорил? Воля человека никогда не умирает. И это правда. Но потом этот философ, не захотевший стать виноторговцем, добавил: воля усопших проявляется в живых, но совершенно посторонних людях. Вот тут он ошибся. Воля, или правильной, духоволие, которое присутствовало в опочившем человеке, и впрямь никуда не девается. Но проявляется не в других людях! А в тех же самых, чье тело умерло, но сущность человеческая живет в виде душ или душетел, как раз и руководимых свободной волей! Вот только такая передача сгустка воли обычной душе отлетевшей сплошь да рядом не происходит. А происходит по особому счету и выбору. Если не испугаешься, могу и еще кое-что тебе сказать...

— Говори, я воробей стреляный.

Тут снова раздался мощный звериный всос. Как будто гигантское реактивное сопло втянуло в себя всплески воли и мыслей. Павлуха от неожиданности даже присел.

— А говорил — стреляный, — снова улыбнулся Лука, — звуки эти издают уставшие механизмы, а иногда и духи низшие, в механизмах таких квартирующие. Правда, сил у низших духов для уничтожения людских сущностей нет. Повздыхают и сгинут.

— Не про них! Про себя скажи.

— Я-то как раз прозрачное душетело с плотным сгустком воли теперь и есть. Такой, знаешь ли, объемный контур когда-то шагавшего по земле доктора и архипастыря, на продолговатый мыльный пузырь похожий, — в который раз уже улыбнулся Лука, — но можно сказать и по-другому: свой собственный двойник я. Правда, покамест без крови и без костей. Но и они в размягченном виде иногда чудом во мне овеществляются. Еще скажу тебе, Павел Петрович, по секрету: новое воздухоплавательное тело мое куда лучше старого, земного! Причем заметь: ничего дурного — подобно на-

стропалемым Бельзевубом зловредным привидениям и низшим духам — я не творю: от ран спасаю, оперирую, бинтую. Сейчас война. Все кругом острым и нервным стало. Так мог ли я свою волю в здешние места, в Новороссию, на Донбасс и в Крым для врачевания не направить?..

— Постой, постой, доктор! А как же со Светлым Воскресением быть? Тут неувязочка и у тебя, и у философа, с мечом в руках спавшего, получается. Как же это ты, не дождавись Воскресения, новое душетело себе вместе с волей-волюшкой замастырил? Выходит — своевольничаешь? Выходит — высшую волю нарушаешь? Мне, ясен пень, образования не хватает, а только чую нутром: точняк — нарушаешь!

— Что чуешь — хорошо. А только нет здесь нарушения. В час Светлого Воскресения двойники воздушные с телами, в земле истлевающими, и впрямь сольются. Но уже навечно! Чуешь разницу? И только тогда для них полнота жизни неуничтожимой настанет! А мне по соизволению свыше лишь временно — понимаешь ты? — временно дано волю и силу проявить, чтобы помочь тем, кому душетело или обычную душу поранили... Вот и лестница. Пришли мы. Много тебе сказал. И сам ты навряд во всем разберешься. Ей расскажешь, если встретишь. Она, умница, поймет, растолкует... Ну прощай, Павел Петрович! Как выберешься наверх — посиди немного прямо на выходе, у дверей расколотых, что на земле валяются. Теплом земли напитайся. В себя приди. Потом в Новую Асканию возвращайся.

Погасив судовой фонарь, доктор Лука стал постепенно исчезать. Сперва пропал колпак докторский. Потом истаяла рука со скальпелем. А там и полухалат скрылся из глаз. Павлуха у дверей лежащих присел на корточки, и сознание из него, от слов ошеломляющих, как из бутылочки нашатыря с отколупнутой пробкой, стало медленно улетучиваться. Странное, занозистое, не дающееся уму имечко неизвестного места терзало его в полузабытьи! Смеющаяся Арья указывала пальчиком на голубую корову, слишком близко подступившую к их сдвоенному нагому телу. Дед Бухтеря сквозь слуховую пелену перед кем-то неизвестным за него, за Павлуху, заступался. Потом вдруг детские голоса зазвенели...

— Дядь, а дядь? У тебя слезы по щекам текут. Ты плачешь, что ли?

От неожиданности Павлуха сел на пятую точку. Рядом в легко шевелимом платице и безобразно рваной серой кофте стояла девочка, едва ли даже шестилетняя. Сбоку от нее свисали с проломленной крыши искореженные железные балки, взблескивала ночной росой ржавая трава. Всю эту несурязицу голопузая луна подсвечивала.

— Ты... Тебе чего здесь? Тебя кто сюда привел?

— Никто не привел. Я тут живу. Уже два дня! — девочка, хвалясь, тихонько засмеялась. — Я из детдома убегла. Детдомовские сказали: «Твои мамка и папка в порту утопли». А я им язык показала и от них убегла. Не верю я детдомовским. Может, мои мамка и папка тут где-то. Мы тут прятались, когда война была. Ты не знаешь, где они?

— Не знаю. А кушаешь ты что?

— Я с собой взяла. Хочешь, и тебе хлебушка дам? У тебя тоже родители потерялись?

— Невеста у меня потерялась.

— А...

— Ну а воду? Воду где берешь?

— Тут из трубы каплет. Ты не думай. Я знаю. Плохую воду пить нельзя. А тут вода хорошая.

— Пропадешь ты здесь. Идем, выведу тебя отсюда.

— А куда мы пойдем?

- Не пойдем, а на автобусе поедем. В заповедник. Знаешь, что это такое?
- Это навроде зверинца? Я в зверинце не была. Только в цирк с папкой ходили.
- Ну пускай зверинец. Только заповедник больше зверинца. И звери не в клетках живут, а на воле.
- А они не кусаются?
- Не. Смирные они. Тебя как зовут?
- Мишка.
- А меня — Павлуха...

Девочка Мишка. Заповедник

В заповеднике душ и тел человеческих, душ зверьих и душ птичьих, весна бушевала вовсю. Буйволы, верблюды, серые гуси, степные журавли, тонконогие кулики и другие никому не подвластные птицы существовали здесь приветливо, спокойно. Цветы и листья, гибкие лозы, подрост и могучие ветки радовались редким тучам, по временам укрывавшим солнце. Скифская, нераспаханная, пешая, конная, с узкоколчанными реками и ширью небесной, степь жила своей особой жизнью, непохожей на лесную, приречную, плоскогорную. Причем души человеки радовались еще и веской своей ощутимости, неотступно возникавшей лишь в степном, напитанном травами воздухе. Радовались души, несмотря даже на то, что тела их от трудов праведных клонились к земле ниже, ниже...

Девочка Мишка с раскрытым ртом, забыв про все на свете, носилась от пруда к вольерным сеткам, подпрыгивала рядом с зебрами и крутолобыми степными жеребчиками. Раскрыв рот, смотрела на пьющих воду и скрипящих голосами, как старые стулья, зобастых пеликанов.

— ...А как спросят у тебя: откуда девчушка? Ты б хоть узнал, из какого детдома она сбежала!

— Да она, дед, названия не помнит. Надо будет — найдем.

— Ну-ну. А я думал, ты на украинскую сторону за кралей своей подался. А ты вон кого привез.

— Дедушка, дай щё хлебушка, я лебеда покормлю.

Подбежав вприпрыжку, Мишка вдруг увидела у дедовой ноги смешно извивающуюся длинным телом собачку.

— Ой, а это кто?

— Та собака ж, рази нэ бачиш?

— А зовут ее как?

— Тыксой кличем.

— Тыкса, Тыксочка, я тебя поглажу! Можно? А зачем ее Тыксой зовут?

— Тыкается она во все. Куда надо и куда не надо нос сует. От и стала — Тыкса. Ты погуляй здесь, Михайлинка, а мы сходим ненадолго куда надо. Потом обедать будем. Ты сырники любишь?

— Люблю. Только не ела давно. Забыла, какие они.

— Круглые они, сладкие...

К вечеру, управившись с работой, вышли в степь. Девочка Мишка валялась в ковылях.

— Спасибо, что внучку привез. Никому отдавать ее не будем. Гляди, как она за день ожила.

— Дедушка, а трава эта как называется?

- Кувырк-трава.
- Смешно как. Кувырк! Кувырк! А правда она так называется?
- Ну вообще-то, ковыль-трава она зовется...
- Она что, ковыляет? Мой папка так маме про нашу бабушку говорил: «Гляди, уже с утра старушенция твоя приковыляла!»
- Ты вот что, Павлуха, — дед понизил голос, — запрос все равно новым властям сделай. Вдруг живы родители ейные?
- Сделал уже с утра, успел, пока не завис компец.
- Дедушка, а идем опять к воде!
- У сонно вечереющей воды, попрыгав и погоняв ленивых уток, девочка Мишка вдруг пригорюнилась. На глазах выступили слезы.
- Ты чего, Михайлинка?
- А я слышала, как сегодня днем тетя рассказывала. Другим дядям и тетям. Про Серафиму. Которая из камня. Которая из кувшина воду льет. А ее правда прилет разорвал?
- Не прилет, а фугас. А подложил тот фугас в опочивальню Серафиме и мужу ее, Фридриху Эдуардовичу, бывшему хозяину этого заповедника, один ублюдок. Давно это было. Сто и еще пятьдесят лет с тех пор прошло. А только, говорили, спаслась Серафима. И Фридрих Эдуардович спасся. Видела памятник? Ну, где он сидит, а к нему птица-дрохва подходит.
- Такой старый муж?
- Тогда он молодой был. Пойдем перинку тебе постелим, как та королева спать будешь. От только молочка тебе верблюжьего нацежу. Будешь пить?
- Будешь. А разве верблюды корова, чтобы молоко давать?
- Не корова, а дает-таки верблюдица. Да еще какое молоко! Густое, сладкое.
- Верблюды — это животное или зверь?
- Животное. Ласковое такое. Завтра тебя подведу к нему поближе. Идем, Михайлинка, идем...

Ящер УКРНИОЗа

Три месяца назад Зверь Ящер был вполне себе человеком. Нос, щеки, живот и сейчас как у обычного мужика выглядели. Только вот от частых вживлений под кожу посторонних предметов, болезненных впрыскиваний и многочасовых капельниц меж пальцами, на руках и ногах, натянулись упругие лягушачьи перепонки, уши выострились, как у летучей мыши, с болью и кровью стали пробиваться выше и ниже локтей, кожные, не слишком схожие с птичьими перья. А совсем недавно — прорвал шкуру и выставлялся чуть вбок короткий, толстый в основании, а на конце острящийся хвост...

Птерозавр, пернастый змей, ящер УКРНИОЗа — так сообразно настроению звал человека, низводимого до уровня ящера, докмед с прибабахом Гоша Смыров. Здесь, на Украине, Гоше разрешили делать то, что строго-настроено запрещали в Питере: выводить летающих мужеящеров. Сперва хитрые укры ему не верили, думали, компешной разработкой новой игры все и закончится, Гоша загребет деньгу и свалит в Америку или на худой конец в Польшу. Но когда у мужеящера выострился на спине зеленоватый гребень, необычное кожистое перо стало расти стремительней, гуще, новые Гошины хозяева призадумались: всколыхнулось в них что-то родное, далекое... Решили подождать до конца воздушных испытаний и других опытов. Огневолосый Гоша, просивший звать его докмед и бывший доктором медицинских наук на самом деле, от удовольствия издавал урчание и плеск. Благодушно урчало нутро. Широко плескались

слова и мысли. Отплескавшись и поурчав, Гоша, обращаясь к молчанию стен, нередко завершал рабочий день выкриком: «Ай да УКРНИОЗ, ай да рев. архаика!»

При этом УКРНИОЗ — Украинский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия — ни малейшего отношения ни к Ящеру, ни к вирусам, которыми в основном занимались Арья и лаборанты рангом ниже, не имел. Просто располагался вблизи от переведенной сюда в двадцать третьем году из-под Харькова лаборатории. Только вот не хотел никто земледелию, пусть даже и орошаемому, денежкой помочь.

Совсем другое дело — Ящер и вирусы. Тут денежки находились. Наслаждаясь притоком средств и пенкой вскипавших фантазий, докмед Смыров сразу же превратил орошаемую аббревиатуру в имя существительное.

— Ящер по фамилии Укрниоз, девочка моя! Полетус! Фактус! Обратная эволюция! — пыхтел он, бегая полукругом вокруг застывшей у компа Арьи. — Ты понимаешь, что это значит? Это решит все траблы и праблы, вставшие сейчас перед миром. Все существа, и человек в первую очередь, забудут свои языки и уйдут — виток за витком — по спирали! Но только не вверх по спирали уйдут, а взад и вниз, вниз и взад! Так-то, девочка моя, скифонистая!

— Я не твоя девочка.

— Ладно, проехали, — в голосе Гоши вдруг послышался испуг, даже слеза зазвенела.

Арья, вздохнув, повернулась к нему:

— Ну? Что примолк? Заигрался со своей обратной?

— Ладно, ладно, — Гоша снова повеселел, — давай теперь имечко для нашего персонажа придумаем. А имечко... — он схватил себя за нос, — имечко самое простое возьмем: Яшка. Теперь — отчество. Пускай отчество для научного паспорта будет... А, вот! Слыхала, как он рычит? Прямо-таки сверлом нас с тобой от темечка до пят высверливает. Ну и пусть будет Свердлович. Сейчас ему объявлю! — круглый Гоша покатился в соседнюю комнату...

На Свердловича Ящер обиделся вусмерть. Вообще-то, Смыров был ему по барабасу. Он и подопытным стал только потому, что Гоша ему объяснил: выводить станут только ящеров-мужчин. А женщин — для продления рода летающих мужеящеров — из местного населения подбирать будут. Баба из лаборатории приглянулась Ящеру сразу. По имени ее здесь никто не звал. И сама она откликалась только на позывной «Скифянка».

— Она... Ее... Ишь! Р-ряху наела! И эту... эту... жп-жп... — никак не мог выговорить нужное слово начавший забывать человеческий язык мужеящер. Но тут же тяга к совокуплению сменялась желанием разодрать Скифянку в куски.

Заметив это, докмед Гоша ласково Яшку успокаивал:

— Станешь пернастым змеем, станешь летающим Ящером — бабу эту на целых три года в загсе зверо-человеческом тебе торжественно в эксплуатацию сдадим! Хорошо я про загс зверо-человеческий придумал? Ась? Не слышу? Ты, Яшка, думаешь, я и жинку твою перьями оснащать буду? Ни-ни-ни, — хохотал Гоша, — зачем тело портить? Нам нужно потомство от Ящера и красивой женщины. И оно будет, будет! Ты, Свердлович, можешь спросить: какая у всего этого цель? И хотя понять ответ у тебя ума не хватит — скажу. Цель, цель, — начинал заводиться и орать во всю глотку Смыров, — цель: обратная эволюция! Если б у тебя еще оставались мозги, ты б, наверно, спросил: а зачем она, обратная эволюция? А я б тебе ответил: а затем, тупая ты рептилия, что нужно всему роду человеческому в доисторический период впасть! Понимаешь? Начать жить как бы до истории и вне истории. Потому как никакой истории нам не надо. Это многим, особенно тем, у которых никакой истории не было и нет, понравится!

И одно из средств запустить обратную эволюцию и попасть в «доисторию» — восстановление популяции птерозавров, через бабье нутро полученных. Ты не думай, что я шизо. Ни-ни-ни. Просто хочу доказать: ни Бога, ни истории мира, им созданного, нет! А спиральку эволюции мы теперь сами куда захотим, туда и закрутим! Вот тогда тебе, олуху царя небесного, памятник и поставим. В виде когтей птерозавра, из бетона торчащих!

Яшка-ящер загромыхал цепью, встопорщил перья. Смыров отскочил, споткнулся, упал, завопил еще сильнее:

— Ну, *sordus pilosus!* Ну, нечисть волосатая! Пикнофибры не топырь — залетит нетопырь! — враз перескочил от ярости к сарказму огневолосый Гоша. — Вижу, вижу, дубина ты стоеросовая! Не понимаешь, что такое пикнофибры. Так это просто-напросто протоперья, ну такие чешуевые перья стародревние. Вот и сотворил я из тебя чудо в перьях! Скажи спасибо, что дегтем не облил и в пуху петушином — как раньше водилось — не вывалял!

Ящер зарычал сильнее. Смыров громыхнул железной дверью. Легла и вытянулась во всю длину каменного подвала, прихлопнутого сверху одноэтажным приземистым домом, могильная тишь. Арья облегченно перевела дух...

В лабораторию к дурноголовому Гоше ее определили сразу после похищения. Отменив заплыв по реке Молочной в район Каменной Могилы, хотели перекинуть в Харьков. Но раздумали: переправили в Мариуполь. Только успели развернуть там лаборатории — раскиданные по городу секретные объекты один за другим стали накрывать КАБы: кто-то навел. Достался осколок и ей. Тогда их лабораторию загнали в подвал «Азовстали»: думали там отсидеться до обещанного прорыва в Мариуполь укровойск. А когда стало ясно: все, конец, ее и еще трех ученых, в том числе сбежавшего из Питера Гошу Смырова, переправили в Киев. Ну, а в начале года двадцать третьего, через два месяца после сдачи Херсона, лабораторию разместили в районе УКРНИОЗа, в нескольких километрах от города. Правда, ящером она тут не занималась, а так, мелочухой: летучими кожанами, комарами и прочей гнусью.

Знала и видела: Гоша Смыров вместо того, зачем его сюда привезли, колдует над одним только Яшкой. Дела ей до этого не было никакого: обдумывала, как из-под Херсона вырваться, потихоньку травила подопытных жаб и летучих мышей. Правда, иногда Гоша взвинчивал себя до крайности, и тогда волей-неволей приходилось прислушиваться к тому, что происходит за стенкой:

— ...они там, в Америке, гендером круглые сутки перед экраном машут! Бабам причиндалы привешивают. А нам нельзя? И нам можно! Мы... мы человека в ящера летающего, в птерозавра превратим, а после мало-помалу, путем нескольких скрещиваний, крылышек ему поубавим, потом и совсем пообрежем, гада ползучего из него сделаем. Все это и на других людей перенесем. Потому как такова угаданная нами обратная тенденция: звереть и уменьшаться, уменьшаться и еще сильнее звереть! Понимаешь ты меня, чепушило? Но при этом облик получеловеческий мы птерику оставим. Голова — человечья, ножки тоненькие — чертячьи, рукокрылость — в триста раз мощней, чем у нетопыря-*pipistrellus*'а. А? Каково? Испугался *pipistrellus*'ом стать? Не догоняешь? А ведь еще не все человечьи понятия из мозга твоего выветрились... Поговори со мной, птерушка, — вдруг взмолился плакса Смыров, — ну поговори!

Даже через стенку стали слышны всхлипы. Так и виделось: толстый Смыров сгибами больших пальцев трет, по обыкновению своему, глаза. Наверное, уже и к Яшкиному плечу припал, а может, и встал перед ним на колени.

— Не хочешь говорить? — вдруг взъярился Смыров. — Так получай, паскуда! — Послышался деревянный треск. Скорее всего, сломалась палка, которую иногда таскал

с собой Гоша. Зазвенели цепи, Арья заткнула уши пальчиками и прильнула к отчету по летучим мышам, присланному местными лаборантами.

Ящер дико оскалился, уронил слюну, напряг свой каждодневно уменьшаемый мозг. Ему хотелось послать Смырова к такой-то матери, а потом сказать что-то страшно въедливое, оскорбительное. А в завершение всего дать ученому дурню под зад коленкой так, чтоб стенку головы проломил. Но ничего этого Яшка сделать не мог: ноги скованы цепью, рукокрылья перебинтованы. Из горла вырвалось нечто невразумительное:

— Р-р-р... с-с-с... х-х-хэ...

Тут Смыров взъерошенного Ящера покинул, вернулся в кабинетик к Арье.

— Все свою Асканию Нову вспоминаешь, р-рюха ты моя др-рагоценная? — рявкнул он над ухом у сотрудницы, сомкнувшей от усталости веки. И отскочил от нее сразу на всякий случай подальше.

— Чего мне вспоминать? Я сама Аскания и есть.

— Распашем. Разборонуем твою Асканию! Весь ковыль на сено птерикам скосим. И тебя уработаем. Как степь пропащем!

— Гляди не уработайся.

— Так я ж привык. Я за компом не сплю. А ты... ты... — снова ухватил себя за кончик носа Смыров, — нет, лучше я тебя таки Свердловичу подарю. Он почтительному обращению с мужеящерами тебя научит!

Арья запустила в Смырова латунной пепельницей. Промахнулась. Гоша, пыхтя сильнее обычного, на полусогнутых убежал и больше не приставал: затаился, смолк...

Новая Аскания

Девочке Мишке верблюд вблизи не понравился.

— Сильно горбатый. И слюна с бороды каплет.

Отвернувшись от верблюда и тут же о нем забыв, погналась вприпрыжку за петляющей бабочкой. Взявший отгул Павлуха и отработавший в ночную дед по очереди удивлялись: откуда такая веселость берется?

— Даже про отца-мать теперь вспоминает весело, — разводил руками дед.

— А ты как думал?

— Да никак я не думал. Ты вон свою Аську два года без стога вспомнить не можешь. А она... То ли забыла, то ли...

— Не забыла она. Просто степь ее в другое состояние перевела.

— Вижу, ты у Аськи своей умным словам научился. А как навоз вилами кидать — забыл!

— Не забыл. Сегодня покидаю и вывезу.

Мишка тем временем тихо выкрикивала песенку. Слова были ясные, простые:

Мамка, папка — я тут.

Здесь кульбабы цветут...

Кончив петь, опять подбежала к взрослым. Встала рядом, прислушалась к разговору.

— А она когда, твоя Аська, приедет?

— Не знаю. Ее тут все Асканией звали.

— Пусть приезжает скорей. Я с ней подружусь.

- Может, она никогда и не приедет. Тогда ты новой маленькой Асканией станешь.
- Не станешь. Я — Мишка. Пусть лучше тетя Ася скорей приезжает!

Святитель Лука

Тень была ощутимей тела. Так Арье, во всяком случае, показалось, когда снова, как и в подвалах «Азовстали», мелькнул рядом старый доктор, похожий на Святителя Луку. Причем мелькнул не тяжелой плотью — именно тенью. Выглядела тень прозрачно-объемной, бегущей не по земле — по воздуху. После еще одного промелька стало ясно: тень светлая, тень прозрачно-выпуклая важней и надежней обычного тела. Похожий на Святителя мелькнул над двором, усыпанным горелыми досками, потом быстрым воздушным шагом — не летя, а именно шагая! — направился прямо к ним: к тайной лаборатории близ УКРНИОЗа, замаскированной под почтовое отделение...

Скоростествовать в тонком теле над Крымом, Донбассом и Новороссией было легко, сладостно. И хотя скорость была огромной — все нужное замечалось, как при скупом отмеренных шагах. Только вот внутренняя боль не покидала. Столько смертей непредусмотренных, непредопределенных, а значит, своевольных, напрасных! Еще больше душ, разорванных в клочья.

Как слабый утренний ветерок, проносилось в предшествующие дни и ночи духовное тело Святителя над руинами, над громадными воронками от ФАБов, над еще не погребенными мертвыми телами. Задержавшись в одном из левобережных госпиталей, нашепнул он на ухо военному хирургу о гнойном, лишь только зреющем абсцессе у оперируемого больного. Но внезапно шепот прервал. И не потому, что хирург военный, повидавший всякого, ошарашен был едва слышной речью, впрочем, тут же принятой за собственный внутренний голос. Нет! Где-то значительно северней, за рекой, раздался стон: не вполне ясный, но от этого еще сильнее встревоживший.

Доктор Лука покидал военный госпиталь с немалым сожалением. Работы здесь было много. Раненых следовало ободрять. Врачей — наставлять. Среднему медперсоналу указывать на проблемные точки в телах искалеченных воинов. Лука, однако, чувствовал: нужно спешить на север! Быстрее мысли очутился Святитель над широкой рекой, а несколько мгновений спустя и у здания почты с глубоким подвалом, где содержались — иногда вперемежку с гадами, земноводными, летучими мышами — подопытные люди. У входа в почтовое отделение Святитель на миг приостановился. Замерла и вся жизнь вокруг. Слышался лишь рык разъяренного Ящера, пытавшегося стронуть с места остановленное для врачебного осмотра болезнетворное время.

Лука Крымский призадумался. Следовало понять: как поступать дальше, чтобы не навредить находящимся в этом месте живым людям. Некоторые из них казались ему мертвее мертвого...

Лиса, кулан, дрофа

Крохотным осколком поврежденное крыло потиху-помалу заживало. Трехпалая, оседлая дрофа готовилась к полету, хоть и чувствовала: рано, рано еще! Одно крыло и еще половина крыла спину, грудку и хвост поднять не смогут. А надо! Вокруг — урон и опасность. Шелкают невдалеке чьи-то зубы. Правда, волки ушли глубже в степь, где прятались от пожаров и грохота пугливые олени и беззащитные лани. Но оставались хорьки и лисы.

Дрофа опять расправила крылья. Полет ей был нужен, чтобы не почувствовать себя птичьей падалью. Она боялась сгнить, или окостенеть, или превратиться в один

долгий изогнутый клюв на несгибающихся ногах. Правда, и чуяла птица: плотный ком воздуха, который словно бы сам собой заглотнулся этой ночью, стать иссохшей падалью ей не даст. Рядом, недалеко, паслись куланы. Нежно-горбоносые, с темной стоячей гривой — были они нестрашными и даже приятными соседями. В самое опасное время — ночью, до восхода солнца и перед заходом его — дрофа старалась держаться рядом с ними. Особенно после того, как один из куланов — самый крупный, самый горбоносый, покрытый шрамами — отогнал от нее увертливую лису. Лиса тогда подкралась незаметно. Спихнуться дрофа раньше, от лисы, конечно, улетела бы. Но теперь, с пораненным крылом...

Лиса уже изготовилась к прыжку, когда кулан хрипло заржал, мигом оказался рядом, встал на дыбы, нацелил на лису узкие, острые, вытянутые в длину копыта. Лиса увернулась и убежала. Дрофа издала приятно булькнувший звук. Но все равно что-то птицу тревожило. И это что-то находилось не рядом — внутри нее...

По ночам, во снах, Арья-Аскания с наслаждением путешествовала. Она покидала почту-лабораторию и почти сразу оказывалась в асканийской, по-весеннему голубоватой, но по краям уже и зарыжевшей степи. Ей даже казалось: тот сгусток трепетного воздуха, в который она во время сна превращалась, могут случайно заглотнуть зебра, верблюд, бык — и радовалась этому, как дитя. Во время одного из таких усладительных снов прямо перед ней, выступив из кустов, встала красавица дрофа. Птица отвела серую внимательную головку чуть назад и слегка клюв раскрыла. Арья всем своим телом воздушным в раскрытый клюв и втянулась. Степь на минуту стала как вогнутое блюдо, потом над собою самой приподнялась и задрожала, словно внезапно возникший мираж. Целую ночь глядела Арья на степь глазами дрофы, и такая степь — различимая до мельчайшего зернышка, до самой мелкой мошки — нравилась ей все больше и больше. Вдруг резкий, проволочный страх пронзил сонное тело. Страшась остаться в утробе дрофы навсегда, Арья-Аскания резко в комок свое сонное тело сжала, с силой рванулась вверх и очнулась. Прерывисто дыша, обшлепала себя по щекам. Пора было по узкой железной лестнице выбираться из подвала на рабочее место, откуда уже доносились покрякивания полудурка Смырова.

Приготовления к полету. Взлетные стратегии

А самолет летит
колеса стерлися!
А вы не ждали нас,
а мы приперлися! —

вваливаясь в крохотный ее кабинетик, пропел Гоша Смыров. И тут же стал тупо-серьезным, как пистолет без рукояти, созданный специально для убоя скота, пистолет, выдернутый из кармана брюк при первой встрече, чтоб до смерти ее напугать.

— Эксперимент сегодня наиважнейший! Подготовь пациента. Медсестру звать не будем. Уколы делать не разучилась?

— Как-нибудь справлюсь.

— Ну и лады. «галочку» с «фенечкой» ему засандалишь — и вперед! Не понимаешь? Галоперидол с феназепамом, говорю тебе, засандалишь Яшке! Он сразу и утихо-

мирится. Тут, правда, еще одна загвоздка. Крылышки у него пока слабенькие, так что придется пернатого с обрыва столкнуть.

— В воду?

— В нее, родимую. Но это если не взлетит. А если взлетит... Но я не про это хотел, — Гоша придвинул стул, сел рядом.

Арья резко отодвинулась. Сорокалетний Гоша казался ей не просто старым, умершим часто казался.

— Да ты не бойсь. Я не лапать тебя пришел. Мне посоветоваться не с кем. Здесь одни тупари, ни хрена в нашем деле не понимают. Ты тоже не понимаешь. Но... — Гоша вдруг всхлипнул. — Один я теперь как перст! Как пальцекрыл удрученный!

— Ну, началось! На, утрись.

Арья протянула Смырову пачку салфеток.

— Да это я притворно, чтоб тебя разжалобить. Слушай Аська, ну может, тыобразишь, мозг у тебя вроде еще работает.

— Ну, говори, не канючь.

— Понимаешь... Тут один япошка, если я не запамятовал, Кацуми Сато, с птичками современными поработал, а потом переложил современные полетные характеристики на древность. И доказал, косоглазый, что птерозавры не могли долго оставаться в воздухе. Правда, пользовался он устаревшими данными и ничего не знал о тапехаридах из семейства птерозавров, обитавших вдали от воды.

— Да пошел ты со своими тапехаридами и аскаридами! Давай ближе к делу. Слышишь? Яшка цепью гремит, просыпается. Или отложим эксперимент?

— Какое там — отложим! Дудки. Никаких задержек с обратной эволюцией! Я же революционер в науке. А настоящая революция — это контрэволюция! Контрэволюция, понимаешь, дура?

— Ты можешь короче, контрэволюционер недоделанный?

— Ладно, не сердчай. В общем, проблемка такая. Трудно понять — как эти самые птерозавры взлетали. Когда-то давно предполагалось: птерозавры были особями холоднокровными с планирующим полетом. Они, как и наземные ящерицы, вместо того, чтобы сжигать свои калории, получали тепло извне. Однако тут неясно: как огромным птерозаврам с жалким своим холоднокровием и едва поддерживающим жизнь обменом веществ удавалось управляться со взлетной стратегией? У них же для создания тяги, необходимой чтобы подняться в воздух, были только задние конечности! Но тут — йод-водород — счастье привалило. Ближе к дням сегодняшним ученые доказали: птерозавры-то были тепло-кров-ны-ми! И при этом обладали сильными мышцами крыльев, причем использовали эти мышцы даже во время передвижения на четырех конечностях! Огромная сила нижних — а правильной, задних — конечностей и позволяла им взлетать на раз, два, три. Поднявшись в воздух, птерики могли развивать скорость чуть не до ста пятидесяти км/ч в час! И пролетали, когда надо, тысячи километров. А мой птерик с остатками человеческого разума, когда крылышки как следует укрепятся, даже вокруг всего шарика облететь сможет. Но это только чтобы с шариком попрощаться. Потому как все вокруг будет постепенно в первобытное состояние возвращено. Сперва птерозавр, потом полуптичка, потом какой-нибудь стрекозел, потом летающая букашка, а потом — вообще никто: бурая водоросль или евглена зеленая. И никакого тебе ума! Никаких паскалевидных и Достоевско-модных идей! Никакой поддельной истории человеческой! И главное, никакого языка: жест и мычание, мычание и жест!

— Ого! Ты, Гоша, поберегись. Если ты такое про исчезновение здешнего языка заявишь — не сносить тебе головы.

— А мы не будем заявлять. И для здешнего языка какую-нибудь особенную теорию научную выдумаем. Мол, есть один-единственный годный для употребления язык. И этот язык — ваш, панове!.. Но ты меня, дура, не дослушала, а перебиваешь! Ты знаешь, кто такой Стёртевант? Эдвард Говард? 1875 года рождения? Вот и видно: ничему тебя не учили как следует. А это ученый американский. Величайший, я тебе скажу, ученый. Так вот: этот жутко продвинутый американец научно доказал — язык людей возник из желания подличать, врать и мошенничать. По Стертеванту — для выражения всех разнокалиберных мыслей и чувств людям достаточно междометий, жестов и мимики. Ну а язык был выдуман людьми, чтобы постоянно водить друг друга за нос и «обувать» на обе ноги сразу. Вот мы и лишим наших прошлых, нынешних и будущих людей-мошенников их лживого языка. А дальше — хрясь-хнысь, хрясь-хнысь! И вся планета наша молчаливо-зеленой, в цвет летающего ящера станет. И мы с тобой станем новые зеленые, а не какой-то тухлый Гринпис. И продолжим воевать с человеком за дикую природу. Чтоб ему неподвластно было с ней шутки шутить!

— Так нас, человечков зеленых, тогда ведь тоже не останется.

— Да, не останется, верно! Станем листьями, лианами. Обовьюсь вокруг тебя крепко и, как гугленыш, навек зависну! А там и вся органическая жизнь на планете кончится. Одни суровые скалы останутся!

— И каменные могилы? — встрепенулась Арья.

— Да, да! Именно каменные! Именно — могилы! А то придумали: Эрмитаж, цивилизация, музыкальные шкатулки!

— Ты у психиатра давно был?

— Только вчера от него. Он все мои планы одобрил. Я ему четыреста долларов сунул, он и написал: здоров, ясный ум, хорошие идеи.

— Ну все, хватит. Помогу тебе с ящером, так и быть. Чем гиль твою слушать, может, искупаюсь.

— Купальничек для приманки не забудь.

— Так нету с собой...

— Ну тогда, йод-водород, давай безо всего.

— Ага, держи карман шире. В платье длинном поеду.

— Ладно, черт с тобой! Только два слова еще, — Гоша никак не мог свернуть с наезженной колеи, — ты думаешь, у меня научное обоснование полетных стратегий слабое? Дудки! Марик Виттон из Портсмутского универа и Мишка Хабиб из универа Джона Хопкинса точно определили: птерозавры для поднятия тела в воздух использовали прыжок! Я у них это подтибрил и в свою программку, ну то есть в Яшку Свердловича, вложил. У птериков в нижних конечностях огромная сила была. А у Яшки? Ноги у него, конечно, теперь сильней человеческих, но для птерика пока слабоваты. Поэтому нужно — в четыре ноги. Вот я и думаю: у тебя ноги хоть и нежные, а сильные.

— Много ты знаешь...

— Ладно, ладно, я тебе юбку пока не задираю, но знаю: ноги у тебя — во! Вот вы вместе с Яшкой и толкнетесь, и прыгнете, как древние птерики. Поможешь Яшке для начала подпрыгнуть и взлететь с обрыва, а я потом ему дам сигнал тебя в воду скинуть.

— А если там скалы или камни?

— Камни там есть, но мало. Ну а если даже на камни упадешь? Подлечим! Авось до смерти не разобьешься.

— Ну спасибочки тебе, Гоша, утешил.

— Да ты пойми! Если я кому надо скажу — тебя как московскую агентшу завтра же в землю живьем зароят. Тебя же вообще хотели смертницей со взрывчаткой на поя-

се сделать. Я, я тебя отбил! А ты... Ладно. Просто помни: тут тебе не Европа! И ты не какая-нибудь Алондра де ла Парра! Так что соглашайся, а я через чип буду Яшкой управлять, чтоб он тебя прямехенько в Герос уронил.

— В Герос?

— Ну да! Река-то Ингулец по-гречески Герос звалась. Йод-водород! Раз уж мы ударились в архаику, так давай чуток по-гречески поболтаем.

— Герос — это бессмертный, что ли?

— Ну можно и так перевести. Ладно! Черт с ним, с Геросом. Ты про другое послушай. Говорю еще раз. Огромная сила передних конечностей позволяла птерикам взлетать без проблем. А поднявшись в воздух, они развивали о-го-го какую скорость. И отсюда хоть до Кёльна, хоть до Гамбурга долететь могли. Понимаешь? Вот вы сегодня вместе и оттолкнетесь. И полетаете слегка во славу обратной эволюции! А потом мы с тобой вместе до потолка полетаем!

— Ты, Гоша, не все учел. Трудности взлета и посадки — они самые непреодолимые. Взлететь трудно — упасть легко. И ты, обдолбьш, тому живой пример. Уронил ты себя — ниже некуда. Выдумал обратную эволюцию и носишься с ней как дурень с писаной торбой.

— Ладно тебе ругаться. Помоги, а? За это не буду тебя ящерицу в постельку подкладывать. И всего-то нужно в паре с ним толкнуться и взлететь. И полет всего-то на пятнадцать минут рассчитан. И Яшка за тобой не просто побежит — прыжками по воздуху поскачет. Ты и в лабораторной одежке приманчивая, а пойдешь в платье — тогда хоть стой, хоть падай. Но Яшка не упадет! Он за тобой кинется, догонит, со спины обнимет, я дам команду, вместе с ним толкнешься, взлетишь. Ну и я за вами на дельтаплане с моторчиком. А над нами коптеры, коптеры! Тут наше с тобой «Болеро» и закрутится влать! Мне сегодня на два часа обещали все небо укрокоптерами перекрыть. А от русских дронов глушилку радиоэлектронную, ну этот самый РЭБ, поставят. Давай, а? Потом в отпуск тебя на три дня отправлю. А Яшка... Он с крыльями не больно ладит. Может, и не прирастут они как следует. Тогда его дооперируем и ходячего пальцекрыла из него сделаем. С уменьшением человеческих качеств. Ну а бабу... Бабу ему через полгода совсем другую подгоним.

— Ты еще продержишься эти полгода.

— Продержимся! Слышишь? Встрепенулся Яшка! Ставь ему «галочку» с «фенечкой» — и на полигон...

Яшка Свердлович

В нарастании крыл чудилась мужеящерицу опасность явная, опасность неминуемая. Вслед за опасностью налетало чувство полной облапошенности. А тут еще колющая кожисто-перьевая и режущая телесная боль, на время уходившая, но потом налегавшая с новой силой. Боль всегда неожиданно возникала. Чаще — перед рассветом. Сперва легкие покалывания в предплечьях, потом сильнее, сильнее: в плечах, на сгибах локтей. Это пробивались наружу все новые перьевые стволы. Поначалу терпеть было можно. Но когда крепкие стволы начинали пробиваться всем скопом — терпец урывался, выбухивал из низов живота рык, за ним рев. В этом рыке, в этом реве бились тягостные мысли: зачем взял мешок гривен? Зачем согласился на опыты лечь? От боли и сокрушающих вопросов жизнь готова была разорвать себя на куски. И только когда проколовшие кожу перья, наполнившись воздухом, специально пускавшимися в отводные трубки, расправлялись, становилось легче. Чешуйчатое тело от взма-

ха рукокрыльев, на ночь открепляемых от железных скоб, поднималось на несколько сантиметров вверх. Гремели ножные кандалы. Перепонки меж когтистыми пальцами натягивались упруго. Крылья легонько шевелились, вздымались, но почти сразу и опадали. Подопытный ум слабел. Пухо-пернастый, широносый, воинственно окогченный Ящер УКРНИОЗа в звериной тоске замирал...

Святитель Лука. Жезл железный

Лука Крымский на миг отвлекся от дум. Пролетела и уселась рядом быкообразная зеленая муха. За ней вторая, третья. Святитель поднял руку, чтобы мух отогнать, но тут же прозрачная, ничего не весящая, однако все такая же цепкая рука хирурга упала вниз: припомнилось полузабытое, давнее...

Летним, непереносимо душным вечером 1921 года в Ташкент, казалось окончательно расплавленный жарой, привезли из Бухары изрубленных и обожженных красноармейцев. За четыре дня пути у многих бойцов под бинтами возникли целые колонии мушиных личинок. Ближе к ночи в больнице оставался один лишь дежурный врач. Он тщательно осмотрел тех раненых, чье состояние вызвало тревогу. Остальных приказал перебинтовать. К утру среди пациентов возник и мигом распространился по больнице, а там и по городу невыводимый слух: врачи-белогвардейцы отдали погибающих бойцов на съедение червям, которые прямо-таки кишат в ранах. Незамедлительно создали Чрезвычайную следственную комиссию. Та мигом арестовала всех докторов, включая главного врача, профессора Ситковского. Больница осиротела. Вскоре начался ревсуд, на который для пущей важности пригласили экспертов из других лечебных учреждений Ташкента.

...В зале суда — яблоку негде упасть. Зрители в большинстве — рабочие, обыватели. Правду сказать, выдали пропуска и нескольким врачам. Вошел и сурово опустил себя на стулья высокий суд. Настал миг тишины. И вдруг за окнами громкое и — как показалось — насмешливое ржание. Ржание повторилось еще, еще... Несколько человек кинулись смотреть. Оказалось: конная стража ведет на суд профессора Ситковского. Профессор шел посередине улицы с заложенными за спину руками, по бокам скакали четверо конвойных с саблями наголо.

Вскоре начался суд, который по замыслу председателя Ташкентской ЧК Якова Петерса должен был закончиться полнейшей революционной викторией. Помешало «виктории» выступление одного из экспертов.

Общественный обвинитель, пышноволосый и слегка курносый Петерс после опроса свидетелей вызвал в качестве эксперта профессора Войно-Ясенецкого.

— Поп и профессор Ясенецкий-Войно, — начал Петерс, — считаете ли вы, что профессор Ситковский виновен в безобразиях, обнаруженных нами в его клинике? У него раненые дерутся, пьянствуют, уличных женщин в палаты водят! А врачи и сам Ситковский вместо того, чтоб раненых прилежно лечить, этим безобразиям тайно и явно потворствуют, дабы выставить напоказ мнимое бессилие рабоче-крестьянской власти!

— Гражданин общественный обвинитель, — голос Войно-Ясенецкого, поначалу тихий, прерывистый, быстро окреп, — тогда прошу арестовать по этому делу и меня. Ведь и в моей клинике царит такой же беспорядок, как у профессора Ситковского. И коренится этот беспорядок...

— А вы не торопитесь! — резко оборвал эксперта Петерс. — Час подойдет, и вас арестуем!

Безобразия, творившиеся в клиниках Ташкента, и впрямь ошеломяли. Получив свободу ото всего: от приличий, традиций, от командирского окрика и почтения к медицине, красноармейцы, составлявшие в клинике большинство, распоясались. Прямо в громадных, отданных под больничные палаты маршировальных залах бывшего детского корпуса разливали по кружкам самогон, дымили махоркой, валяли приведенных с улицы баб. Несмотря на увещевания врачей, на просьбы тяжелораненых и некоторых сознательных красноармейцев, разгул не утихал. Дошло до того, что на требования Войно-Ясенецкого прекратить развратные действия распаленные легкораненые кинулись бить попа, зачем-то напялившего белый халат. Били ногами, затем костылями. От побоев профессор слег. Но через неделю в госпиталь вернулся. Управы на кем-то явно подстрекаемых, не желавших выписываться из клиники бойцов не было...

Приметив замешательство Войно-Ясенецкого, видимо вызванное неприятными воспоминаниями, Яков Петерс громыхнул новым вопросом:

— А черви? Черви у Ситковского раненых пожирают, а вам, Ясенецкий-Войно, хоть бы что!

Профессор доводы общественного обвинителя отверг решительно:

— Никаких червей там не было! Были личинки мух. Хирурги таких случаев не боятся и очищать раны от личинок не торопятся. Давно ведь замечено: личинки действуют на заживление ран благотворно.

— Что еще за личинки? Откуда такие подозрительные сведения про целебность личинок?

— Хотел бы сообщить гражданину общественному обвинителю: я не двухлетнюю революционную школу для фельдшеров окончил, а медицинский факультет Киевского университета Святого Владимира.

По залу пробежал ободряющий шумок. Петерс был явно разгневан, но гнев сдержал и, круто меняя тему, спросил совсем о другом:

— Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как это вам удастся? Ночью вы молитесь, а днем людей режете?

Ответ эксперта перерос в вопрос:

— Я режу людей для их же спасения, а вот во имя чего режете людей вы, гражданин общественный обвинитель?

В зале раздался гул одобрения. Пожевав губами, Петерс уже спокойнее, со скрытой насмешкой даже, спросил:

— Вы, говорят, перед операцией ставите йодом крест на теле больного? Так ли это? И есть ли от этого хоть какая-то медицинская польза?

— Польза есть. Йод уничтожает микробов, а крест всегда и везде свою силу окажет, в медицине же — тем более.

Петерс продолжал наседавать:

— Как же вы, Ясенецкий-Войно, поп и профессор, можете верить в Бога? Разве вы его видели, Бога вашего?

— Бога я действительно не видел. Однако я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и разума. И совести там тоже не находил. Я, гражданин общественный обвинитель, и врач, и пастырь. И то и другое — взаимосвязано, даже неразделимо. Ибо сказано в Евангелии: «Жатвы много, а делателей мало. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою!»

Обвинения рассыпались. Суд застыл в недоумении. И все же, посоветовавшись, судьи под нажимом Петерса приговорили Ситковского к шестнадцати годам тюрьмы. Врачам его клиники тоже отмеряли немалые сроки. В Ташкенте это вызвало явное не-

довольство. Поэтому через месяц врачей стали из камер потихоньку выпускать, а там и приговор отменили...

Тут же мысль Войно-Ясенецкого от выступления на суде перенеслась совсем к иным, по другому случаю сказанным словам. Припомнилась исповеднику и хирургу его первая проповедь в далеком среднеазиатском соборе. И сам темноватый, освещенный всего десятком свечей собор припомнился. Перед проповедью он внезапно понял: войны не кончатся никогда. Потому-то и нужно взглянуть на них по-новому, по-иному! Не поддерживать, не оправдывать. А просто приучить себя к мысли: жить придется в непрестанном войномирье. И приноровившись к такой мирвоенной жизни, очищать ее от налипающих скверн, а самые резкие — несовместимые с жизнью — взрывы войн огромными докторскими колпаками накрывать... Не война несет смерть. Неумолимое присутствие смерти порождает войну! Ей, смерти, и надобно в первую голову противостоять, с ней и надобно бороться: словом евангельским, скальпелем хирурга, предвидением уловок и коварных подсидок безносои! Тогда вслед хотя бы за частичным умирением смерти пропадут постепенно и войны.

И вот сейчас, сто лет спустя, начало той давней проповеди, изменив в ней лишь последние слова, Святитель Лука негромко произнес:

«Мне, иерею, голыми руками защищавшему стадо Христово от целой стаи волков и ослабленному в неравной борьбе, в момент наибольшей опасности и изнеможения Господь дал жезл архиерейский, жезл железный! И великой благодатью святительской мощно укрепил на дальнейшую борьбу за сохранение и процветание края Новороссийского, Донбасса и Крыма...»

Полет Ящера. Схлест

Укродроны кружили безостановочно. Безверхий, еще советский «козел» с Гошей Смыровым, Арьей-Асканией, двухметровым Ктитором и мужеящером, едва уместившимся в заново окрашенном зеленом прицепе, не доезжая до берега метров семидесяти, остановился. Тут же подоспел и курносый грузовичок с дельтапланом для Гоши. Смыров приказал Ктитору снять с Яшкиных глаз повязку и расковать ему ноги с уже отросшими желто-коричневыми кривыми когтями.

Река виднелась узкой полоской. На высоком берегу высился старинный пирамидальный памятник с барельефом. Подошли ближе. С барельефа глянул на мир лихо завитой, молодежавый военный. Дохнуло речной прохладой.

— Ну и куда ты, Гошенька, нас привез?

— Фалеевка это. По-здешнему — Садовое. Берег не так чтобы высокий, но для взлета сгодится.

— А памятник кому?

— Эх ты, империализдочка липовая! Синельникову, генералу.

— Подойду прочитаю, что там на доске написано.

— некогда читать. Я тебе и так скажу: «Генералу И. Мэ. Синельникову. Смертельно ранен двадцать какого-то июля 1788 года при осаде Очакова. Скончался 29 июля в Кинбурне. Погребен в Херсоне». Короче, ядром ему ногу изуродовало. Ну, ампутировали ее, и все дела. А он после ампутации — возьми да помри. В общем, твой собрат по несчастью. Тебе, говорят, ногу в Мариуполе тоже чуть не оттяпали? Как теперь ножка? — понизил голос Смыров. — Высоко поднимается? Я люблю, чтоб повыше!

— Заглохни, гошист недорезанный...

Яшка Свердлович тупо глядел на реку. Арья скинула платье, туфли и босиком в серой ночной сорочке пошла к обрыву. Гоша приказал Ктитору взять автомат наизготовку, а сам потихоньку стал развязывать веревки на Яшкиных рукокрыльях.

Почувяв свободу, Ящер хотел было выдавить из себя: «Ну, спасибочки, тебе, паскуда!», но вместо этого лишь рыкнул и, роняя слюну, на полусогнутых стал красться за неторопливо шедшей к обрыву Арьей.

— Музыка! Скорей! 3-з-звонче! — взвизгнул Гоша и замахнулся на Ктитора.

Мнимо контуженный Ктитор включил давно заготовленное для сопровождения Ящеровых полетов «Болеро».

Дальше все вышло, как и задумал Гоша: Ящер обхватил Арью сзади, попытался расправить крылья, унести ее куда подальше. Гоша нажал кнопку. Ящер тут же согнул нижние конечности. Арья тоже присела, они разом оттолкнулись, и Ящеровы рукокрылья вдруг раскрылись. Взмах, другой, третий! Еще, еще, взлет! Выше, круче!

Ящер УКРНИОЗа внезапно увеличил скорость вдвое. Оторопевший Гоша жал вспотевшим пальцем на кнопку... Без толку! Докмед обмяк мешком. Дикий испуг мешался с гордостью от неожиданного успеха.

— Назад! Назад! — старался перекричать музыку огневолосик.

И тут же понял: Свердлович ни его, ни музыки, призванной мерно и задумчиво покачивать Ящера на воздушных волнах, не слышит!

Ухватив Арью зубами за собранные в пучок волосы, Ящер УКРНИОЗа летел, как и полагается теплокровному птерозавру, мощно-размеренно взмахивая крепнувшими в полете крыльями...

— Куда, свол-л-лота? — лопнул голосом Смыров.

Он хотел набрать оператора дронов, сообразил, что не успеет, и выверился на Ктитора:

— Стреляй, поганец!

Ктитор нехотя вскинул автомат. Он сразу понял: стреляя по Ящеру, угробит красивую бабу — и дырывать ее не захотел. Дал очередь так, чтобы зацепить только нижние Яшкины лапы. Гоша выхватил у Ктитора автомат.

Яшка, забирая все левой, уходил к слиянию Героса с Днепром, в экстазе не сообразив, что летит в российскую сторону. Вдруг вперемежку с Гошиными командами в ушах у Ящера зазвучал грудной широкий голос.

— Крылья... — очень медленно, словно через какой-то мощнейший динамик, произнес голос, сразу ставший глубже рек, шире степей и напугавший Ящера сильнее, чем угрожать страшными карами Гошин визг.

— Крылья дают чистым, — размеренно продолжил глубокий грудной голос, — нечистые крылья — от лукавого. Крылья твои будут сломаны. Замри.

Ящер хотел огрызнуться, хотел семиэтажным матом обложить невесть откуда взявшийся голос. Но вдруг на несколько секунд и впрямь застыл: взмахи прекратил, перешел на планирующий полет.

В малом, воткнутом в слуховое отверстие наушничке продолжал трещать и попискивать Гоша Смыров. Но тут опять зазвучал размеренный голос. Два голоса в пространстве воздушном пересеклись и на короткий промежуток времени схлестнулись. Гошин язвительный тут же стал осыпаться сухой штукатуркой. Грудной еще расширился, заполнил окружающее пространство от венца до доньшка, стал плотней воды, ошутимей внезапно поднявшегося ветра.

Дикий схлест двух голосов, перевернувший кверху ногами подзабытые мысли человеческие, Ящера вмиг растерзал. Он хотел что-то крикнуть в ответ: сперва Гоше, потом грудному голосу. Даже слова завирущие про то, что он-де военнопленный

ящер, а проще говоря, Гошин раб, заготовил. Но толкнуть речугу не успел: донельзя расширившийся голос, упреждая Яшкино вранье, произнес:

— Воля — чужая. Грех — твой. Складывай крылья, гнусная помесь.

Однако здесь, вперебив мерному голосу, снова всполоснулись Гошины визг и крик:

— Ты же Ящер-дьявол! Ты первый в мире контрэволюционер! — надрывался Смыров.

Но понимая, что исполнить его команды Ящеру мешает властный, невесть откуда взявшийся голос, звучавший и в его наушниках, Гоша упал на траву, выдрал из затылка огненный клочок волос. Хотел выскубить поочередно и брови, выкрашенные в противовес огненным волосам в синий цвет, но тут же руку от левой бровки убрал и, катаясь по траве, расхохотался. Мысли от хохота в Гошиной голове перемешались: «Брови? Брови! На бровях к начальничкам сегодня приползу. На синеньких, на любимых! Какой полет? Ай да Гошник, ай да „Болеро“ господина Равеля!..»

Пули Ктитора Яшку все-таки настигли. Одно крыло сразу обвисло. Второе от перегруза задрожало, задергалось. Мужеящер попытался сложить, а потом раскрыть оба крыла сразу и резко уйти к левому берегу. Не вышло. Дико и обреченно рыкнул он раз, еще раз...

Арья выпала из слюнявой пасти. Падая в реку, ощутила резкую боль в плече. Но боль только обрадовала. «Жива! Живехонька!» Ошеломляющая свобода вдруг зарябила перед глазами мерехтящими звездочками.

Она упала в Герос и ушла глубоко под воду. Чтобы не достали с берега укропосты, тоже открывшие огонь, на минуту или даже на полторы задержала под водой дыхание.

Совсем близко, рядом, уходил на дно Ящер. Зеленоватая вода уже в самом начале лета зацветшего Ингульца-Героса враз отяжелела перья. Плавать мужеящер не умел даже и в человечесем образе.

— Помоги... Скиф-х-х-р-р-л... — булькая зеленой водой, захлебнулся в крике Ящер.

Арья крик его услышала. Попыталась протянуть левую руку для помощи и не смогла. Только сейчас поняла: боль в руке — скорее всего, от пули, застрявшей в мякоти плеча. На несколько секунд пришлось вынырнуть, оглядеться. По воде медленно красивыми узорами расходилась ее кровь. Услыхав еще одну автоматную очередь, снова с головой ушла под воду...

Неширокий Герос — дважды выставившись и глотнув воздуху, с трудом перенырнула под водой. Отряхиваясь в камышах, еще раз глаза на плечо скосила. Там чернела дырочка. Рядом, нежно меняя очертания, расширилось на воде кровавое пятно. Но боль в плече лишь усиливала неведомо откуда взявшуюся радость. «Не может быть! Без документов, без одежды почти, — а вырвалась! Отсюда до позиций российских войск, скорее всего, километров двадцать-тридцать. Вдруг как-нибудь тишком-нишком проскочить удастся?..»

Свесив с обрыва босые ноги, на берегу Героса сидел и плакал огневолосик Смыров. Рядом валялся искореженный железными шизоидными пальцами пульт управления полетом. Мертвый Ящер УКРНИОЗа лежал на дне, недалеко от берега и был хорошо виден. На лице Свердловича застыла дьявольская усмешка. Углом из воды торчало изрешеченное пулями крыло.

Доктор Лука, припозднившийся на берег из-за того, что оказывал помощь покалеченному сорвавшимся с крыши бревном местному жителю, покачал головой. «Хирургов не хватает. Что на левом берегу, что на правом. Вот и опоздал...»

Очень скоро доктор оказался в камышах, у береговой кромки извилистого Героса, тихо струящего свой поток сквозь времена и войны. Умелым нажатием на сонную артерию лишив сознания беглянку, доктор бережно плеснул на рану спирт из бутылочки, подождал тридцать секунд, сделал скальпелем надрез и хирургическим пинцетом с изогнутыми и заостренными зубчиками вынул пулю. Снова покапав спиртом, затолкал тампон с мазью Вишневского поглубже в рану, заклеил пластырем. «Хорошо б, она загноилась, тогда завтра-послезавтра полноценный дренаж провести можно».

Раненая не очнулась. «Пускай полежит без сознания часок-другой. Придет в себя — шепну на ухо, как быть ей дальше».

Через полтора часа доктор Лука вернулся и лежащую осмотрел. Рана мариупольской пациентки была средней тяжести. «Только ведь вода кругом. Как бы заражения не случилось. Ну да Бог милостив. Завтра осмотрую еще раз».

Выставив перед собой, как навигатор, полупрозрачную ладонь и рассмотрев зажегшийся на ней цветной план местности, Лука спиной тихонько отступил в камыши и, подражая внутреннему голосу Арьи-Аскузы, сказал: «Вниз по реке. Пройти камышами. Километрах в двух-трех — жилье. До впадения Героса в Днепр добираться не нужно. Там посты. Нужно пересечь полуостров, который клином отделяет приток от главной реки. Оттуда нетрудно на левый берег. Дальше — по обстановке. Может, попадутся люди незлые: оденут, к своим пробраться помогут...»

Арья вздрогнула, очнулась, удивилась: «Видно, мозг сам, без меня, дуры, решил, как дальше жить!»

Вдруг мощный, совсем близкий разрыв оборвал мысли, рванул душу из тела...

Княжья птица

Табун куланов существовал в Новой Аскании словно бы сам по себе. Вдали мелькали звери четвероногие и звери двуногие, крупные стрекозы, птицы бегающие, птицы летающие. На них табун внимания не обращал: для куланов посторонние живые существа значения имели мало. Каждую осень табун кого-то терял. Каждую весну, в ее середине, кто-то являлся на свет. Отстранясь от чужих и вспоминая друг о друге лишь во время кровавых стычек за самку (с попытками ухватить друг друга за ногу, повалить и начать грызть сопернику шею), умело уходя от волков и не поддаваясь парящему над землей, сладко вздрагивающему мареву химер, — в таком приятном беспмятстве жилось табуну легко, спокойно. Рядом с куланами и дрофа чувствовала себя в безопасности. Поврежденное крошечным осколком крыло потиху-помалу заживало. Мощные ноги и ясно предощущаемая скорость разбега вселяли уверенность, давали чувство защищенности. Еще чуть, и долгожданный полет, к которому дрофа устремлялась каждым движением, каждым перышком, приблизится вплотную.

Уже с рассвета предполетное нетерпение толкало разбежаться, сделать шаг, за ним еще, еще... Наконец стало ясно: взлететь пока не удастся. От этого или от чего-то другого вдруг навалилась сверху непонятная тяжесть. Постепенно тяжесть проникла внутрь тела. Где именно она поселилась — поди пойми. Сперва вроде шевельнулась в спине, потом в груди, а после — в низах тела. В конце концов подобралась тяжесть и к горлу. И там вдруг начала становиться невесомей, легче. Зайдя в кусты, дрофа осторожно клювом отстранила сперва в одну, потом в другую сторону розовый пух, добралась до шейной складчатой кожи.

И враз почувствовала: кожа стала другой! А тяжесть, та, наоборот, сделалась совсем безвесной. Еще раз осторожно коснувшись клювом изгиба шеи, вдруг наткнулась на крохотное отверстие. В страхе склонила голову набок, постояла в нерешительно-

сти. Затем еще осторожней снова прикоснулась к покрывшейся пупырышками коже. Отверстия больше не было! Зато внутри вместо былой тяжести и былой легкости образовалось небольшое облачко. Оно приятно вздрагивало, толкало к необычным действиям. Ни с того ни с сего появилась уверенность: если подойти к урчащим, кричащим и выдыхающим дым существам, которых дрофа про себя и вслух называла «Кыы», они помогут! Крадучись, короткими перебежками, сперва по краю перелеска, затем через высокий узколистный ковыль, поспешила она к светлому дымку, плывшему над горбатой крышей, напомнившей цветом куланью шкуру. Не добежав, замерла в кустах: словно кто на бегу ее остановил.

— Ты гля, дед! Дрофа к нам припожаловала. Стоит меж кустов, не уходит. Беги отсюда, дуреха, беги!

— Раз пришла, значит, надо. Бинобль мне принеси. Только не тупочи лапами: спугнешь...

Дед смотрел в бинобль долго.

— Крыло левое ей повредили. Вчера — слышал? — прилет был. Та и быют же украды укропистые! Без наводки, без цели. Ну, просто гатят по степи, и всё тут. Мало они, отступая, живности здесь перепортили. Ладно, постоит птица и уйдет. А не уйдет — завтра кормом ее подманю, крыло потрогаю. Вдруг пособлю чем. Айда до хаты, за работу пора...

— Так, может, ее — того?

— Я тебе дам «того»! Тоже мне, курицу нашел. Дрофа — птица княжья! И заповедная к тому ж.

— Это почему ж, дед, она княжья?

— А потому, Павлуха, шо охотились на нее с гончими собаками и ловчими птицами. А такая охота — чисто княжеская забава. И выглядит дрофа по-княжески. Только мало теперь птиц таких осталось. Все, идем...

Ночью дрофа нашла укромное место, спряталась от лис и хорьков. Волков рядом слышно вроде не было, а вот лисы и крупные степные хорьки — те вокруг бродили. И не так чтобы далеко от жилья дымного.

В самый темный час опять засвербела шея. Притронулась клювом — снова крохотная дырочка! Враз через крохотное это отверстие со слабым шумом вылетело и подалось напрямиком в асканийскую степь упругое облачко.

Река и степь

В двух с половиной километрах от впадения зеленоватого Героса в Днепр доктор Лука, уже начавший было выкачивать гной из раны в плече и собравшийся обработать глубокие царапины на боках от когтей утопшего Ящера, начал внезапно прямой массаж сердца. Оглушенная, а может, и контуженная взрывом мариупольская знакомка внезапно и безо всяких на то причин стала на глазах отходить.

«Почему? По какой причине? Взрывная волна запустила скрытый процесс в мозгу? А может, в теле? Или... Или жить ей не хочется?»

Лука глубоко втянул в себя воздух, сожмурил веки, прижался устами к искривленному судорогой, умирающему рту прекрасной пловчихи. «Что это я? Инъекция нужна, инъекция! Да где взять?» Не переставая вдвухать воздух, словно бы не давая покинуть тело изготовившейся к этому душе, доктор Лука взмолился:

— Господи, помоги врачевателю, в честь апостола и лекаря Твоего возлюбленного Луки названному! Дай сил уберечь от преждевременного ухода душу пловчихи...

От натуги и всплеска чувств доктор Лука на несколько секунд потерял пространственную ориентировку, выпал в инобытие. А когда очнулся, даже не раскрывая глаз, понял: ожила умиравшая!

Отступив от ожившей, Лука подставил руки налетевшему ветерку. Ветерок капельки гноя с прозрачных пальцев обнес, ладони высушил, обеззаразил. Доктор Лука выдохнул скопившуюся было в нем слабость и негромко, но твердо произнес:

— Гнойное ныне время. И почти неоперабельное. Выкачать гной и раны до конца зарубцевать — пока не выходит. И недолеченным время теперешнее — оставить невозможно. Пора, пора за время нынешнее засучив рукава приниматься!

— ...Это вы, доктор? Вас я в подвале мариупольском видела?

— Меня, внученька.

— Спасли вы меня дважды... — перекрестилась очнувшаяся, — вот только стоило ли? Может, напрасно спасли? Под небесами — лучше. Так сладко во снах я путешествовала!

— Всякому своя доля и путь свой. Кому краткий, прерывистый. Кому непрерывный, долгий. Твой путь прерывать нельзя было. Я и помог тебе. Очнись и живи без долгих снов. Что бы ни было после — жить нужно сейчас. Не прожив как следует жизни земной — не получишь пристойной жизни небесной. Гной земной жизни и страшен, и хорош. Кровь земной жизни страшна, но при кровопусканиях пользу приносит. Ты вот по небесной жизни тоскуешь, а я жизнь земную с усладительной тоской вспоминаю!.. Ну, будет об этом. Рана твоя обработана. Через три дня врачам местным покажешь. Теперь ступай. В места степные, откуда на «Азовсталь» попала, ступай. Тебя как зовут?

— Аскания.

— Славное какое имя. Месту и времени хорошо соответствует. Новый эдемский сад в асканийской степи скоро начнет разрастаться. Сад чудотворный, изумительный. Вне мира и вне войны существовать он будет. Из этого степного сада по всей земле Новая Аскания побеги свои пустит.

— Это вы про земной рай говорите?

— Еще не рай это. И сказал про Асканию так не я. Государь Николай Второй про места ваши матушке своей так писал. Правда, не Эдемом, а картиной из Библии с животными, вышедшими из Ковчега, назвал он Асканию. Ну а я подправил, — радостно рассмеялся Лука, — но, по сути, это и будет новый Сад предэдемский, Сад асканийский, где вместе люди, птицы и звери, позабыв про смерть, тысячелетними деревьями произрастать будут. А вокруг — степь поднебесная! Это не рай на земле, не рай на небе, а только преддверие полного и окончательного расцветания Великого степного сада меж небом и землей. С ласковым ковылем, схожим на ощупь с куланьей мягкой шерстью, с деревьями, достающими кронами до звезд, со зверями и птицами душу полноправную получившими, с душами человеческими, не изничтожившими себя в сквернах мира, не отравленными пирами войны, готовыми в будущем вернуться вместе со своей волей и правдой в свои же тела после их окончательного восстановления...

От счастья услышанных слов Арья-Аскания закрыла глаза. Нежно-дымчатый, а по краям иссеро-голубой ковыль мерно и ласково, как всемирный разум, шевелился. Сторожевые и погребальные курганы, смеющиеся голоса птиц, песенные разговоры людей взлетали и повисали близко, рядом, куда ясней и ошутимей, чем любой светозвуковой мираж. Меж землей и небом протянулась с юга на север и с запада на восток небесная степь.

«Небостепь земная, — в тихом ликовании шептала Арья, — небостепь, еще неизвестная науке, в таинственном пространстве между небом и землей расположив-

шаяся. Есть космос, есть земля, а есть никому не известное пространство меж ними. Пространство Божьего слова и Божье-человеческой мысли. Так? Нет?.. Так, так! Такое пространство — небостепь и есть! Она, конечно, тоже своего рода фата-моргана, но овеществленная, укорененная в нашей жизни, только мало кем наблюдаемая. Даже лизнуть, даже потрогать можно... Вот только поймут ли тебя, степь, люди северные, люди лесные, горные, тундровые?..»

Она вытянула правую, а затем и левую руку к северу. Резкая боль в левом плече мыслей не оборвала, а лишь ускорила, взвинтила их штопором к небу:

«Степь, степь! Бессмертная, беспредельная, существующая вне причин и следствий, вне мира и войн, вне куч внешнего мусора и хлама: преходящего, тупого, корыстно-го! Вне всего — кроме любви-приязни и любви-соития-в-духе-и-теле — существующая! Русская, святая — шире всех мироколиц — неуничтожимая степь! В степи этой все начиналось, в степи и закончится...»

После этих страстным шепотом выплеснутых слов степь приблизилась, стали видны отчетливо ее изгибы, возвышенности. «Как на теле моем, как огромное тело человеческое, тело женское, светлокое, рыжеватое во впадинах и подмышках...»

Степь подступала к раненой все тесней, все ближе. «А вот и сад в степи! Абрикосы, слива колючая — терн, персики, кусты чайной розы, по краям сада маслины. А в саду кто? В саду — Павлуха! И девочка в платьице васильковом. Еще в школу, наверное, не ходит. Прыгает, веселится. Мираж? Мираж, конечно!» — сказала сама себе Арья и снова нырнула с головой в ставшую вдруг неизъяснимо приятной боль.

Наутро солдатка, приютившая спасенную пловчиху, оглядев ее со всех сторон, запричитала:

— И откуль он токо взялся, дохтур этот чудесный? Как заштопал тебя! И не видать ничего даже. И на лицо ты вроде поправилась. И рука поднимается. А я как увидела, что тебя гад крылатый несет, так и упала. Подумала: умом я, што ли, от всех этих летающих коптеров тронулась? А только вспомнила. Говорили у нас на выселках: рядом с УКРНИОЗом заброшенным всяку дрянь и нечисть оживляют. Ну как это по телику говорить? Куклонируют, чи шо? От я и осмелела. Глаза раскрыла. Лежу. Переживаю. Вдруг стрелять зачали. Тут кровь у гада летучего фонтаном из шеи — хлысь, брыз, хлысь!.. Хотел он тебя нижними лапами перехватить и зажать. А не смог. Только рыкнул во всю глотку рыком человеческим и тебя из зубов выпустил... Ох ты, моя сердешная, натерпелась, видать, от ящеров этих в форме зеленой! Хорошо, дохтур здесь объявился. Его наши и вчера, и позавчера издаля замечали. Ходит так быстро — токо ноги в больничных тапках мелькають. И чемоданчик свой дохтурский цепко так держать, иной раз и к груди прижимает. Видать, струмент у него дорогой там... Жалко, я дохтуру спасибо сказать не успела: токо халат белый мелькнул и над ним окулярцы серебряные. И все... Пока не ушел он, в комнату к вам я зайти боялась: заругал бы. На лицо он веселый, а губы строгие. Оно и правильно: дохтуру чистота важна и чтоб лишних — никого. Ну, прощевай, Арья! Дай обниму тебя на дорожку!

Вне мира, вне войны

Прошло два долгих, уже совсем летних дня. Дрофа с выправленным и пролеченным Бухтерей Потапычем левым крылом то появлялась, то исчезала снова.

Утром выходного дня девочка Мишка спала на малой, еще Павлухиной перинке. Сам Павлуха, по воскресеньям будильник не заводивший, чуть посапывая, на полу кемарил. Дед еще с вечера за иловой грязью в Скадовск уехал.

— Вот и я, — тихо сказала Арья-Аскуза.

Павлуха подумал: голос уютный ему снится. Перевернулся на другой бок. Потом, до конца не просыпаясь, спросил:

— Ты кто?

— Не узнал? Я — твоя Аскания. Но только новая, преображенная, хорошо заштопанная, чисто вымытая, от заразы доктором вычищенная.

Павлуха резко перевернулся на спину и веки даже не раскрыл — разодрал пальцами.

В дверном проеме, словно за омытым дождевой водой тончайшим стеклом, в газовой полупрозрачной накидке с едва заметными контурами цветов и птиц зыбилась Арья-Аскуза.

— Ты что, приснилась мне?

— Жить я к тебе вернулась, а не снится.

Павлуха раскрыл было рот, чтобы на весь дом, даже на весь поселок городского типа заорать от радости. Арья-Аскания жестом его остановила.

— Идем в степь, — тихо и просто сказала она, — я место затишное знаю. Ни мира там, ни войны. Одна любовь, одна ласка. Идем... А девочка приемная пусть поспит немного.

* * *

С кургана было хорошо видно: идет впереди Арья, за ней — Павлуха, вслед им машет рукой проснувшаяся, но не решившаяся побежать за взрослыми девочка Мишка, а чуть позади разгоняется, взлетает, опережает идущих и летит, не слишком их обгоняя, бело-красно-серая асканийская дрофа.